

Предисловие автора.

Мне 75 лет, где-то здесь проходит граница между пожилым и преклонным возрастами и недалеко от конца жизни. У меня заботливая жена и удобное кресло. Я много времени провожу в этом кресле, предаваясь воспоминаниям о прожитом за истёкшие три четверти века. Чтобы эти воспоминания не сгнули вместе со мной, мне пришлось на ум написать нижеследующее.

Родился я в 1897 году 26 января по ст. стилю. Моя мать Мария Яковлевна Акимова-Перетц происходила из купеческой семьи. Дед Яков Иванович Акимов-Перетц начал трудовую жизнь мальчиком в фруктовой лавке и, благодаря недюжинным, надо полагать, способностям, во второй половине жизни имел уже большой фруктово-винный магазин в семиэтажном собственном доме на углу Забалканского и Сенной площади в С-Петербурге. Он умер, когда я был ещё ребенком, и я лишь смутно помню весёлого старика с окладистой купеческой бородой. Его жена – моя бабушка Татьяна Ивановна дожила почти до революции 1917 года, в моих воспоминаниях - это добрая, но строгая русская простоя женщина, привыкшая, однако, к материальному достатку и уважению окружающих. У неё было 3 сына и 4 дочери – из них старшая – моя мать. Моя мать получила среднее образование, причём, в одном классе с ней училась жена В.И.Ленина – Крупская Н.К. После окончания гимназии мать делала попытки продолжить образование на высших женских курсах, но из этого, видимо, ничего не вышло – сказалось вос-

питание, полученное, хотя и в относительно прогрессивной, но всё же купеческой среде.

О своём отце я знаю мало. С матерью я из сыновнего такта никогда о нём не говорил, а она также никакого разговора никогда не начинала. От тётки Лизы, в доме которой я прожил с 1911-1915 год в Петербурге, я узнал, что моё появление на свет было обязано курортному роману матери с грузинским князем Тумановым, что она была в него сильно влюблена, что он обещал на ней жениться, но его родственники якобы восстали против этого брака и он не состоялся. Напрасно мать уже после моего рождения, когда мне было около года, предприняла нелёгкое по тем временам путешествие в Тифлис по военно-грузинской дороге. В Тифлисе я тяжело заболел скарлатиной с осложнениями на почки и среднее ухо, последствия которых меня сопровождали всю жизнь. Моя мать оказалась в положении матери-одиночки – положение в те времена очень тяжелое, но не в материальном, а в моральном отношении. Видимо, из этих соображений дед купил ей участок земли в только что начавшем развиваться Сочи, и мы с матерью уехали по тем понятиям почти на край света, подальше от оскорбительных для неё кривотолков. После этого краткого вступления я перейду к воспоминаниям.

Глава 1. Д е т с т в о

1.Годы до приезда в Сочи.

Воспоминания этого периода отрывочны.

Большая затемнённая комната, горит не то лампада, не то ночничок. Я лежу в детской кроватке с боковыми сетками больной, в комнате пахнет скипидаром, которым мне натирали грудь. В комнате - мать, очень большая, кажется собирается давать мне лекарство.

Другая комната небольшая, узкая. Ночь. В комнате кроме меня никого нет. Я страшно боюсь, что в полуоткрытую дверь войдёт тигр и закрываюсь с головой одеялом в надежде, что он меня не заметит.

Третья комната – столовая, за окном – деревья. Утро, солнце. Обеденный стол, буфет, на стене отрывной календарь.

Вечер. В этой же комнате, у матери гостя - молодая красивая дама, и я от смущения залезаю под стул. (Это, надо полагать, было в Царском селе, где мы с матерью жили одно время).

Курорт Погулянка вблизи Двинска. Здесь мы проводили лето, когда мне было 3 или 4 года. Парк, посыпанные желтым песком дорожки, сосны. Мы с матерью гуляем по парку. Вдруг мать отбегает в сторону и кричит мне: «Змея!». Я смутно помню что-то тёмное на песке дорожки, но ясно помню своё недоумение: как это мама бросила меня в минуту опасности?

Ещё одно воспоминание. Мы с матерью у доктора Полякова в Петербурге ждём приёма - после скарлатин у меня вплоть до окончания института (до 25 лет) было гноетечение из правого уха. Посреди обставленной как гостиная приёмной, на столике – аквариум и в нём рыбки. Я стою около него на цыпочках, и мне хочется помо-

читься, но торжественность обстановки и присутствие посторонних мешает мне сказать об этом матери. Я обдумываю положение и решаю, что если я помочусь немного, то мои нижние, вязанные штанишки впитают влагу и никто ничего не заметит. Но, увы, около моего башмачка появляется лужица. Мать вызывает горничную с тяпкой, а я чувствую себя посрамлённым и плачу.

2. Приезд в Сочи и первые годы жизни в Сочи. (1902-1904 гг.)

В 1902 году моя мать со мной уехала навсегда из Петербурга в Сочи. Переезд по морю на меня тогда не произвёл большого впечатления. Я помню только, что пытался помешать какому-то большому человеку удить рыбу с борта судна, так как мне было жаль рыб. Наоборот, приезд в Сочи, высадка с парохода мне хорошо запомнились и уже описаны мною («Старый Сочи конца XIX – начала XX вв.» В.Г.).

Вскоре после приезда мать сняла маленькую дачку в две-три комнаты, хозяева этой дачи Прилуковы жили в другом доме. Их обширный, поросший дубами, участок занимал район, где в настоящее время воздвигнут памятник В.И.Ленину. У нас была прислуга, которая готовила обед. Из каких-то, но только не материальных соображений, мать отпустила домашние обеды 5-6 лицам. Я помню, что среди них были учителя и городской врач - мой будущий отчим.

В это же время шло строительство нашей дачи на участке, который заглазно приобрёл и подарил

матери дед. Участок этот располагался на самой окраине тогдашнего Сочи, на Лысой горе, почти под её вершиной в оползневой зоне. По существу, это была покрытая вековым лесом, непригодная для строительства земля. Мать была неопытна в этих вопросах, а архитектор - пожилой человек Душкин, которому опрометчиво доверилась мать, закатил на самом опасном в оползневом отношении месте строительство огромной и нелепой, двухэтажной деревянной дачи с тяжёлыми бетонными куполами на крыше (причудливая помесь рококо с мавританским стилем).

В это время я заболел на длительный срок тяжёлой формой тропической малярии, и моя болезнь, видимо, сблизила мою мать с городским врачом Аркадием Львовичем Гордоном, который позже стал её мужем, а моим отчимом. Из этого периода я помню только ночи в жару и ознобе и то, как меня, ослабшего после тяжёлой болезни, снова учили ходить.

В то время мы жили уже в домике на углу теперешнего Курортного проспекта и Театральной улицы (тогда Подгорной и Пограничной). Я ясно помню тёплый день, земляничное дерево всё в красных ягодах, дорожку от крыльца к улице, по которой я иду на слабых, слабых после болезни ножках, кем-то поддерживаемый. Больше малярией я никогда не болел – точно получил иммунитет.

Так прошли 1902-1904 года.

В 1904 году моя мать со мной ненадолго приехала в Петербург и остановилась у своей сестры Лизы – очень красивой и весьма неглупой женщины, которая была замужем за Платоном Васильевичем

Сидоренко, молодым тогда адвокатом из малороссийских дворян. У них был сын Вадим на полгода младше меня. Нам обоим шёл седьмой год. Память хранит только несколько отрывочных воспоминаний: у тёти Лизы недавно родилась дочь Ксения. Я и Вадя присутствовали на её крещении, которое приглашённый священник совершил в домашней обстановке. Крещение произвело на нас с Вадей такое сильное впечатление (нам разрешили присутствовать), что мы на следующий день, облачившись в ризы из каких-то платков, крестили медведя из папье-маше (картона) в тазу с водой. Медведь раскис, на пол мы набрызгали, и ничего хорошего из этой затеи не вышло.

Другое воспоминание, связанное с этим же приездом, касается Русско-Японской войны. Я помню красочные плакаты, изображавшие расстрел русскими судами японских кораблей. Наши детские души были полны патриотической гордости. Хотя интуиция подсказывала, что взрослые огорчены известиями с фронтов войны, но мы слепо верили плакатам.

В этом году моя мать вышла замуж за Аркадия Львовича Гордона, человека хорошего и доброго, который усыновил меня, дал мне свою фамилию и которого я полюбил сыновней любовью и сохранил это чувство не только до его трагической смерти в 1940 году, но и до последних дней. В то время мой отчим работал городским врачом, первым городским врачом в Сочи. До 1902 году, когда я с матерью приехали в Сочи, в городе была только городская амбулатория, помещавшаяся в одноэтажном домике на улице Войкова (тогда – Пластунской). В

1902 году стараниями отчима на городские и частнопожертвованные средства была построена первая в Сочи городская больница на 30 коек. Она была построена несколько выше ныне существующего входа в железнодорожный тоннель. В 1911 году при прорытии выемки для этого тоннеля произошёл оползень, который разрушил больницу. До 1906 года отчим заведовал больницей, был и хирургом, и акушером, и терапевтом, поскольку как врач был в больнице в единственном числе. После больницы он вёл частный приём у себя на дому – в квартире, которую снимал на улице Войкова (Пластунской улицы, немного выше Подгорной улицы – теперь Курортного проспекта). Здесь мы жили в зимние месяцы.

В эти годы я помню отчима ещё не седым, с тёмной эспаньолочкой, всегда хорошо одетого, в белом воротничке, очень подвижного и энергичного. Со мной он всегда был приветлив, но ни он, ни моя мать моими интересами не жили, будучи заняты каждый своим делом. Отчим был человеком левых настроений, и, как я узнал потом из книг воспоминаний революционеров 1905 года, марксистом и атеистом. И действительно, хотя у матери в спальне и горела перед иконой Мадонны лампадка, но разговоров на религиозные темы дома никогда не было. (тем не менее бабушка – жена Аркадия Львовича, была верующим человеком, о чём красноречиво говорит следующий факт: пред моим отъездом в Ленинград для поступления в институт она перекрестила меня на дороге с напутствием: «Да хранит тебя Бог!» *В.Г.*)

У нас и на даче, и на городской квартире часто бывали одни и те же друзья, и между ними память мне сохранила образ невысокого человека лет 30 с чёрной бородой и тёмными живыми глазами – Александра Льва Александровича, сосланного после 1905 года в Сибирь и там погибшего.

3. Дача и моя жизнь, связанная с ней.

К 1904 году дача уже была отстроена. Вернувшись из Петербурга в Сочи, мы уже жили в нашей новой даче. Мои детские воспоминания тесно связаны с жизнью на даче.

Дача, как я уже упоминал, было большое и не-лепое здание в два этажа, бетонные купола скоро дали течь, и их чуть ли не в первый год заменили обычной железной крышей. В нижнем этаже были парадные комнаты, спальня родителей, балкон-терраса, в одноэтажной пристройке – служебные помещения. Верхний этаж имел только две небольшие комнаты и большую наполовину крытую террасу. В стороне от дачи была ещё одна небольшая постройка: конюшня и летняя кухня, а также комната для сторожа-садовника-кучера в одном лице. Этим лицом был пожилой, весьма строгий человек. Его звали Фёдор, а его жену, круглую приветливую женщину – Татьяной. Она выполняла работу птичницы.

Лысая гора тогда была ещё почти не застроенной, и лишь отдельные дачи стояли на склоне горы, покрытой нетронутым лесом. Наша дача была самая крайняя, и за ней начинался лес, среди которого то тут, то там встречались остатки черкесских хуторов-аулов, небольшие поляны с одичавшими фруктовы-

ми деревьями. Этот лес, полный жизни, всецело завладел моей душой. Лысую гору в те времена покрывал вековой дубовый лес, в котором то тут, то там светлели поляны старых аулиц.

Лес изобиловал и насекомыми, и птицами, и даже зверьми, которые встречались совсем рядом с нашей дачей. Бабочки самых ярких расцветок, в том числе и такие, как сейчас почти исчезнувшие, махаоны, разноцветные стрекозы, самой различной формы жуки, шмели, осы и пчёлы встречались буквально на каждом шагу, особенно на лесных полянах. Вечером, когда пили чай на балконе, массы ночных бабочек кидались на огонь керосиновой лампы, а огромные ночные бабочки: сатурнии и бражники, налетая в большом количестве, заставляли иногда переходить в комнаты. Поражало изобилие птиц: сойки, иволги, дятлы разных пород и окрасок, удо́ды, дрозды, масса мелких певчих птиц наполняли лес своими голосами и мельканием крыльев. Высоко над деревьями кругами парили коршуны и стремительные копчики прорезали воздух. Грациозные косули иногда даже днём подходили к самой даче. Моими друзьями были два барсука, не помню, как прирученные, которые жили в лесу и каждый вечер приходили на зов, чтобы получить угощение. В самом близком соседстве с дачей мы часто находили следы медведя. Ночи были ещё более впечатляющими: мириады светлячков наполняли опушки леса мелькающими искорками огоньков; подходя почти вплотную к даче, голосили шакалы. Их крик был похож на плач ребёнка. Иногда из мрака лесов доносился грозный рёв, который мы, видимо ошибочно, принимали за голос барса, которые тогда ещё води-

лись в окрестностях Сочи. Я сам однажды видел, как два охотника вели по базару этого низкого и длинного, похожего на леопарда зверя, удерживая его на натянутых цепях.

События, которые происходили в эти годы, с 1904 по 1910 года, я не могу точно датировать, поэтому рассказ об этом периоде моей жизни будет не всегда последователен.

Мать предоставляла мне достаточную свободу, и я целыми днями пропадал в лесу. Я выучился прекрасно лазить по деревьям и даже сделал себе в лесу на дереве высоко, над землёй, нечто вроде хижинь-гнезда, где иногда, пользуясь временным отсутствием матери, даже проводил полные тревоги ночи, воображая себя Робинзоном (у меня даже был Пятница – мой друг Серёжа Тимофеев). Мы прислушивались к шороху опавшей прошлогодней листвы под чьими-то осторожными, а иногда и тяжёлыми шагами, вою шакалов, уханью филина. И лишь под утро засыпали прижавшись друг к другу, чтобы проснуться уже под кукование кукушки среди залитой солнцем листвы и утреннего запаха леса. Плоды одичавших фруктовых садов, оставшихся после черкесов: дикие яблоки–кислицы, груши, алыча, кизил, дикая черешня, орехи, а также ягоды ажины (ежевики) – всем этим щедро кормил лес и зверей, и птиц, и двух мальчишек. Так я полюбил лес и начал самоучкой сначала по складам читать Великую Книгу Природы.

С годами приходили новые интересы. Сначала, помню, мы увлеклись географическими открытиями и, воображая себя героями Майн-Рида и Жюль Верна, уходили на несколько километров вверх по тече-

нию тогда ещё полноводных горных речек, текущих по обе стороны Лысой горы, вычерчивая их течения и давая названия встречающимся полянам и маленьким водопадам, например, «Поляна рыжей бабочки».

Потом, со временем, наше внимание всё больше и больше стала привлекать жизнь насекомых, так замечательно описанная в книгах Фабра. Энтомология увлекала меня всё больше и больше. Я стал заниматься ею уже серьёзно, так что ко времени окончания гимназии твёрдо решил стать энтомологом. Жизнь, однако, решила иначе.

В дошкольные годы мать приглашала для занятия со мной учителей, но я относился к этим занятиям с отвращением и, кажется, не пользовался расположением ко мне учителей – я же просто их боялся.

Помимо леса, помню, меня очень занимало разведение кур и уток. Особенно маленькие цыплята и утята были прямо моей страстью. Вспоминается такой комический случай: как-то незадолго перед дождём я из озорства осыпал синькой цыплят; это было незаметно пока стояла хорошая погода, но как только прошёл дождь цыплята, к всеобщему недоумению, окрасились в синий цвет. Кроме этого у нас была коза, молоком которой меня поили, поскольку после скарлатины у меня с детства болели почки.

4. Революция 1905 года.

Революция 1905 года пришла для меня, восьмилетнего мальчика, совершенно неожиданно. Я помню только, что взрослые говорили о том, что толпа людей шла с красными флагами, а другая толпа – с

портретом царя и плакатами с надписью: «Царь и народ – едины». Отчим, помню, говорил матери, что могут быть жертвы, а что такое «жертвы» я не знал. Кажется, тогда столкновения не было, и обе демонстрации разошлись мирно. Объясняется это, как я теперь думаю, тем, что как с одной стороны, так и с другой были представители интеллигенции, встречавшиеся между собой в частной жизни и даже дружившие, несмотря на разницу политических взглядов, а интеллигенция имела тогда большое влияние на «массы». Уже потом вдруг появились горцы-грузины в черкесках с кинжалами и ружьями. Дома была какая-то суэта, я слышал выстрелы, но потом всё смолкло – стражники, полицейские и солдаты пограничной стражи укрылись в кирпичной казарме, только что отстроенной на крутой горке за больницей. Помню, как, вернувшись утром с прогулки домой, я застал на застеклённой терраске несколько больных (в этом ещё ничего достопримечательного не было), но меня поразил и взволновал какой-то запах, которого я раньше не знал. Тогда я заметил, что это были вооружённые горцы, и у одного из них была вся в крови забинтованная рука, и тогда я понял: это был запах крови, который остро ощутил мальчишеский нос. Потом я помню ночь. Отчим и мать ушли – отец очень боялся, что на следующий день может произойти несчастный случай. Дело в том, что на следующий день революционеры предполагали произвести обстрел казармы из пушки. Пушка эта была поднята с морского дна, как трофей, и лежала в сквере около маяка. Её втащили на гору напротив казармы, ядрами служили гири с отпиленными ушками. Отец очень боялся, что пушку при

выстреле разорвёт и будут раненые, поэтому он ещё с ночи отправился туда, мать пошла с ним. Дома я остался один, было страшно, но исследовательский дух заставил меня залезть в книжный шкаф в кабинете отчима и там моё внимание привлёк какой-то круглый предмет, завернутый в бумагу. Я потянулся за ним, он выкатился на ковёр перед шкафом, бумага сама развернулась, и я увидел ... череп с оскаленной челюстью прямо пред собой. В комнате тускло горела керосиновая лампа, и от этой полутьмы мне стало ещё страшней. Я так и пролежал, уткнувшись носом в ковёр, пока не рассвело и не вернулись домой отчим и мать.

Сочинская республика (после «артобстрела стражники под руководством начальника округа Розальон-Сошальского сдались) просуществовала всего несколько дней. Они были заполнены решением вопроса, что делать с полицейским Шинкоренко*, осужденным народным судом. Потом на рейде появились транспорт с казаками и миноносец. Море

*Автор ошибается. Вопрос с Шинкоренко был рассмотрен и по решению народного суда он был выслан в Гори в октябре 1905 года. В течение нескольких дней существования Сочинской республики руководство восстания, предвидя своё поражение, решало вопрос: как быть дальше? Некоторые руководители восстания, воспользовавшись задержкой с высадкой карателей, скрылись.

штормило, и два дня корабли не могли высадить десант. Революционеры решили сложить оружие. Я помню вечер, у нас сидит один из революционеров, студент Сулема, и советуется с отчимом куда бежать. Я помню, что упоминалось слово «Батум». Затем высадился десант казаков, и они расположились лагерем по ул. Войкова (Пластунской) от моря до подъёма. Отчим пропал из моего поля зрения – его арестовали за участие в восстании, хотя он употреблял все усилия, чтобы не было кровопролития. Он, в

частности, уговорил Разальон-Сошальского сдаться без боя, предотвратив кровопролитный штурм казарм.

Отчим был заключён в сочинскую тюрьму, в большую общую камеру вместе с Александровым, братьями Жилинскими, Трувелером и рядом других сочинских интеллигентов-революционеров. Это было предварительное заключение, и отношение властей к арестованным было довольно либеральным. Я помню, как меня, восьмилетнего мальчика, под Пасху, даже пустили с пасхальной передачей в камеру, где сидел отчим, и я помню, как много там было куличей и всякой снеди.

Вскоре мать уехала со мной в Петербург хлопотать о смягчении участи отца, пользуясь кое-какими связями. Остановились мы опять у тётки Лизы, и её муж, уже довольно известный присяжный поверенный, вероятно, помог матери. В гостях у них в то время был брат Платона Васильевича - Михаил Васильевич – помещик, столбовой дворянин, конечно, крайне правых убеждений. Дразня меня, он постоянно напевал: «Оттого и потому посадить его в тюрьму». Я ревел, потому что мне было жаль отчима, и я понимал, что именно его Михаил Васильевич имел в виду. Надо думать, что хлопоты матери принесли результат потому, что после девятимесячного пребывания в тюрьме отчим был освобождён, но без права занимать государственные должности. В результате этого он лишился места городского врача и в течение ряда лет работал частнопрактикующим врачом, что для него, как активного хирурга, было большим ударом.

В последующие несколько лет отчим подвергался со стороны право настроенных черносотенных сограждан жестокой травле. В тогдашней местной газетёнке появлялись памфлеты, в которых наряду с именами других арестованных революционеров фигурировал и «жид» Гордон. Однако местное население продолжало любить и уважать отчима как врача и его приёмы никогда не пустовали. Это обстоятельство, вызывая зависть других врачей, также не пренебрегавших частной практикой, подливало масло в огонь неприязни, особенно со стороны занявшего место городского врача-хирурга Кестера. Мать как могла старалась поддержать настроение отчима. К тому же постепенно образовался круг либерально настроенных друзей, образовалась группа во главе с А.Н.Костарёвым, которая задумала эмигрировать в Америку, в Калифорнию. На этом основании один из братьев Костарёвых – Андрей даже назвал принадлежащую ему небольшую гостиницу в районе, где теперь находится Зимний театр, «Калифорнией», и остановка автобусов долгое время носила уже при Советской власти это интригующее название (в более поздние времена, с появлением Зимнего театра она была переименована в «Театральную».В.Г.). Отчим тоже собирался эмигрировать с этой группой.

Однако расцвет экономической жизни в России в 1907-1914 годах, весьма ощутительно затронувший и Сочи (расцвет курорта, увеличение экспорта фруктов и табака и пр.) нарушил этот план эмиграции, и все остались на своих местах. Отчим, мать и я в 1907-1910 годах летом жили на нашей даче, на Лысой горе (тогда покрытой вековым дубовым лесом), а зимой - в городе, на квартире.

5. Школьные годы (1906-1910 гг.)

До 1906 года в Сочи существовало двухклассное городское училище, церковно-приходская школа, маленькое сельское училище и ремесленная школа при опытной станции. В 1906 году было решено открыть 4-х классную прогимназию. С трудом набрали два десятка учеников – мальчиков и девочек, и открыли первый класс. В число принятых учеников попал и я. Я был диковатым, своевольным и недисциплинированным мальчишкой, любил лес, свободу, и занятия меня не увлекали. Учился я плохо все четыре года, но на второй год всё же не оставался - переползал на тройках. Помимо леса и небольших горных походов меня увлекали куры, утки и голуби, но только не учёба. Особенно я любил дрессированную белую голубку, которая, к возмущению учителей, даже прилетала с дачи на Лысой горе в центр города и, впорхнув в класс, садилась мне на плечо, благо, что моя парта стояла у раскрытого окна. Прогимназия помещалась в здании (бывшей средней школы № 2 до перевода её на Кубанскую улицу) бывшего городского медицинского училища, вблизи церкви, от которой нас отделяла только полоса Маячного сквера.

Учителя, набранные с бору по сосенке, представляли самую удивительную смесь типов. Моргайтис – учитель латинского языка, чопорный, всегда затянутый в синий мундир, и рядом с ним Кочановский Д.И., местный житель, учитель географии, в ситцевой косоворотке и чувьяках на босу ногу, во время урока садившийся на подоконник с краюхой

хлеба в руках. На его хуторе, в Разбитом Котле мы неоднократно по приглашению хозяина лакомились дикой черешней, взбираясь на высоченные деревья. Учительница немецкого языка, молодая и красивая, воспитанная преимущественно на книгах модной в то время Чарской. Наиболее близок мне был учитель русского языка и литературы, рафинированный интеллигент, молодой князь Енгальчев. Не помню, чему и как он учил нас, но нередко, отправляясь на прогулку за город, он брал с собой меня и ещё одного-двух мальчиков. Часто мы ходили на хутор Кравченко, сын которых Лукан, учился в нашем классе. Хутор помещался там, где теперь молокозавод, но тогда лес начинался там, где теперь находится вокзал и гостиница «Чайка». На хутор вела дорога под сводами дубов и буков. У Кравченко были две дочери-близнецы на выданье, и там собиралась небольшая, разновозрастная, но весёлая компания. Мы лакомились виноградом, играли в фанты, ставили шарады и пили вечерний чай из самовара у керосиновой лампы. Это был ещё как бы XIX век. Учился я, как уже упоминал, плохо и неохотно, и особенно ненавистны мне были уроки пения, которые преподавал нам молодой регент церкви И.А.Шмелёв. Музыкальный слух у меня отсутствовал, а текст песен, которые мы разучивали, возмущал меня своей бессмыслицей. Поэтому я, сидя на подоконнике, при первом удобном моменте вываливался за окно, стучась спиной о мягкую землю, и стрелой мчался через двор к оврагу. Это был большой овраг (ныне в его выемке располагается концертный зал «Фестивальный». В.Г.), носивший название «Турецкого оврага», так как в его устье, у моря, лепились хиж-

ны турок. Овраг своею верхней частью примыкал ко двору прогимназии и давал под сенью своих кустов и папоротников надёжное убежище беглецу. В этом же овраге у нас происходили жаркие схватки с мальчишками-турками. Строгое джентльменское соглашение запрещало кидаться камнями, метательными снарядами служили только кипарисовые шишки и комки глины.

Я обладал, повидимому, богатой фантазией, и моими любимыми книгами после сказок Андерсена, которые мне часто читала мать, стали сочинения Жюль Верна и Майн-Рида, Л.Буссенера, очень рано я полюбил поэзию М.Ю.Лермонтова. И сидя на вершине дерева, в гнезде, о котором я уже упоминал, я штудировал лермонтовского «Демона», упиваясь гармонией гениальных строк. Особенно близки мне были стихи о Кавказе и черкесах – ведь я жил тогда на земле, которую ещё не покинули тени черкесов – так много тогда напоминало о них.

Уроки в прогимназии не оставили в моей памяти ни малейшего следа.

Из развлечений этого периода мне вспоминаются гуляния в городском парке (теперь значительно урезанного оползнями). С двадцатых-тридцатых годов он стал называться «Приморским». Городская управа на летний сезон приглашала какой-то грузинский оркестр, все участники которого были одеты в кавказские костюмы почему-то красного цвета. Под музыку этого оркестра устраивались танцы. Большая часть жителей тогда маленького городка собиралась в вечерние часы в парке – это были популярные для того времени, полного либеральных идей, народные гулянья. Иногда Сочинское обще-

ство попечения бедным устраивало большие гуляния с маленькими спектаклями и лотереями. Сочинские дамы продавали на этих гуляниях мороженое и шампанское, за которые платили обычно крупными кредитками без сдачи – вырученные деньги шли на благотворительные цели. Памятью деятельности этого общества является сохранившееся до наших дней здание городской библиотеки им. А.С.Пушкина, построенное на средства членов Общества. Безвозмездным архитектором и прорабом этого здания был популярный в то время архитектор А.Я.Будкин, с сыновьями которого я учился в прогимназии. Однажды на такой лотерее мои родители получили своеобразный выигрыш: чёрного дрессированного пони (его продал обществу «севший на мель» приезжий цирк). Пони, которого звали Красавчик, родители подарили мне. Верховые поездки на Красавчике доставлял мне большую радость, но, к сожалению, был выдрессирован перед каждым человеком, у которого на голове был котелок или канотье, становится на колени и кланяться. При этом, естественно, я летел через голову лошади на землю. Поэтому, завидев человека в котелке или канотье, я быстро заворачивал Красавчика и мчался в противоположную сторону, поскольку я сам без посторонней помощи в седло пони влезть не мог. По окончании лета Красавчика продали.

В 1909 году я перешёл в четвертый класс прогимназии – это был её последний класс. Надежд на преобразование прогимназии в гимназию тогда ещё не было. Летом этого года у нас на даче гостила сестра моей матери Лиза с мужем и сыном Вадей – моим одноклассником. Как я уже упоминал, это была ин-

телигентная, приличная петербургская семья. Видимо, родители еще тогда попросили тётю Лизу и дядю Платона взять меня в их семью для продолжения учёбы в Петербурге.

Кончилось моё детство, проведённое среди нетронутой, дикой природы Черноморского побережья Кавказа, детство, проведённое в самом близком общении с богатой и роскошной природой, среди живых обитателей лесов и садов; детство счастливое и свободное, поскольку родители мало ограничивали мою свободу, особенно после рождения в 1907 году брата Лёвы. Но я об этом не думал, бездумно и радостно деля своё время между купаниями в море и пребыванием в лесу.

Осенью 1910 года мать отвезла меня в Петербург в семью дяди Платона. Мои знания не позволили мне поступить в пятый класс столичной гимназии, и я стал учиться снова в четвёртом классе вместе с Вадей.

Это был крутой поворот в моей судьбе, и он определил границы между Детством и Отрочеством.

Глава II. ОТРОЧЕСТВО

1. Жизнь в семье дяди Платона, Поездка в Безугловку

Переход от жизни в Сочи к жизни в С.-Петербурге был, конечно, очень резок, но я воспринял его без особых переживаний – как необходимость.

Семья дяди Платона и тётки Лизы жила вполне зажиточно. Барская квартира на 6-й Рождественской улице (ныне Советской) была прекрасно обставлена, но часть окон выходила в типичный двор-колодец. Меня поселили в комнате, где работал по вечерам писмоводитель дяди, перепечатывая его деловые бумаги. Комната была на отшибе, там находился диван, на котором я спал. Поскольку писмоводитель засиживался иногда до десяти часов вечера, то я помню мучительное желание спать в ожидании, когда он освободит комнату.

Дядя Платон в это время был уже преуспевающим петербургским адвокатом. Работал он по дворянской опеке и, видимо, хорошо зарабатывал, однако за моё содержание платили мои родители. Жизнь в семье дяди я воспринимал без особых огорчений, возможно, потому, что и дядя, и тётка относились ко мне так же, как к своему сыну Ваде, не давая мне повода для обид. Примером может служить такой случай: во время Рождественских каникул дядя и тётка поехали на неделю в гости к брату дяди в родовое имение Сидоренок в Черниговскую губернию. Мне и Ваде купили одинаковые белые лыжные костюмы и лыжи и одинаково без какой-

либо разницы относились к нам во время поездки. Безугловка – поместье средней руки, располагалось среди безлесных полей недалеко от Нежина. Это было путешествие в XIX век. На станцию выслали из Безугловки лошадей с розвальнями и большими овчинными тулупами, в которые все облачились. Розвальни под звон бубенчиков повезли нас по просторам заснеженных полей, мимо засыпанных снегом редких, небольших деревень. Деревенские избы были крыты соломенными крышами, над которыми из печных труб курились в морозном воздухе сизые дымки.

Наконец розвальни въехали через большие ворота в обширный двор, в глубине которого стоял одноэтажный дом с четырьмя колоннами на фасаде. Старый, немного обветшалый помещичий дом. Парадные комнаты выходили на обширный двор – парадный двор, летом, возможно, покрытый травой, а тогда, зимой, занесённый снегом. В больших нетопленных залах почти вся мебель была под чехлами. Зимой туда, видимо, никто не заходил, и высокие окна с мелким переплетом были покрыты узорами инея. Зато задние комнаты, выходящие в большой старый, занесённый нехоженым снегом парк, были хотя и меньшими по размерам, но тёплыми, уютными, обжитыми. Мебель – простая, добротная, сделанная еще, вероятно, руками крепостных мастеров. Михаил Васильевич Сидоренко, предводитель дворянства Нежинского уезда, был человек грузный, могучего телосложения, черноволосый, но начинающий лысеть. Он был крайне правых убеждений. И хотя они дружили с дядей Платоном, но и по внешности, и по убеждениям были весьма несхожи.

Михаил Васильевич был холостяком, но не монахом: среди немногочисленной прислуги выделялась молодая, красивая женщина – Одарка, которая хотя и вела себя отменно скромно, но разница в отношении к ней окружающих ясно ощущалась даже нами, мальчиками. Хозяйством по дому, однако, заведовала пожилая родственница «тётя Вера».

Несколько дней, проведённых в этом, уже разрушающемся «дворянском гнезде», оставили в моей душе глубокий след, может быть, потому, что я краем глаза увидел мир романов Тургенева, Гончарова, Пушкина. Прогулки на лыжах, посещение шестикрылой мельницы и скотного двора с его запахами – всё это было для меня ново и необычно. Но впоследствии я глубже смог понять такие выражения, как «И дым отечества, нам сладок и приятен». Вадя каждое лето проводил в Безугловке, но я там больше никогда не был.

Конец Безугловки печален: незадолго до революции Михаил Васильевич умер от запущенной сахарной болезни. Дядя Платон, видимо, не успел продать это имение. Осталась в нём временно управлять тётя Вера, но во время Октябрьской революции окрестные крестьяне, а может быть, и бандиты, напали на усадьбу, тетю Веру утопили в имевшемся в глубине парка пруду, дом разграбили и сожгли, парк вырубил на дрова. Теперь на месте бесследно исчезнувшей Безугловки простирается, наверно, поле какого-нибудь совхоза или колхоза.

2. Частная гимназия Гуревича

В Петербурге меня, как я уже упоминал, определили опять в четвёртый класс частной гимназии Гуревича, где учился тоже в четвёртом классе Вадя. До самого окончания гимназии мы с ним всегда жили дружно и сидели на одной парте. Гимназия помещалась в двухэтажном здании на углу Лиговки и Бассейной (ныне ул. Некрасова). Гимназия эта была своеобразной. Плата за обучение была хотя и относительно высокой, но состав учителей был подобран очень тщательно, поскольку директором и владельцем гимназии был культурный и эрудированный педагог Я.Я. Гуревич.

Состав учеников резко делился на две группы, мирно уживающейся между собой. Одну, менее многочисленную, составляли отпрыски богатых семей, которых, можно сказать, за уши перетаскивали из класса в класс, а другую, более многочисленную группу, составляли нормальные мальчики, которые с помощью прекрасного, надо сказать, строгого преподавательского состава приобретали весьма высокие знания. Это был козырной туз гимназии, заслуженно пользовавшейся хорошей репутацией, чему, впрочем, не соответствовал гимназический гимн:

Его Превосходительство большой любитель птиц
Берёт под покровительство хорошеньких девиц,
Её Превосходительство любила петухов
Брала под покровительство кадетов, юнкеров.
На том мы и Гуревичи, что курим мы и пьём,
По Невскому шатаемся и к дамам пристаём.
Стой мадам! Стой мадам! Я тебе полтинник дам!

Видимо, гимн был сочинён прошлыми поколениями, ибо в моё время никаких «превосходительств» не было.

Яков Яковлевич Гуревич держался с достоинством, но и к нам относился с уважением, высоко ставя достоинство человека, даже мальчика.

Поведение основной массы учеников было нормальным, хотя в старших классах многие курили. Меня, как новичка, встретили насмешками и глупыми остротами. Особенно донимал меня и Вадю некий Аракелов - второгодник, признанный силач класса. Я в Сочи был самым маленьким в своём классе и привык вести преимущественно оборонительные бои. Такой же тактики я придерживался и в Петербурге, не учитывая того, что лесная жизнь в Сочи сделала меня более сильным и тренированным, чем городские мальчики этого класса. Однажды учитель рисования попросил Аракелова, как признанного силача, передвинуть тяжёлую гипсовую модель и когда тот не смог её поднять, учитель, чисто случайно, попросил меня ему помочь. Аракелов, желая посмеяться надо мной, только сделал вид, что поднимает модель, а я, к своему удивлению, один поднял её и перенёс на указанное место. На первой же перемене, я, сменив оборонительную тактику на наступательную, вздул Аракелова так, что тот заревел и побежал жаловаться. Этого класс ему не мог простить, и его «лидерство» навсегда закончилось, а ко мне стали относиться как к «своему». Тогда нам с Вадей было по 13-14 лет.

Вадя учился хорошо, и я стал невольно старательно заниматься, чему в немалой степени содействовала скучная жизнь в городской квартире, тем более, что нас держали в строгости. Можно сказать, что единственным нашим развлечением с Вадей зимой в то время было вечернее катание на коньках на

соседнем катке под светом ярких электрических ламп в окружении обсыпанных снегом деревьев, а в тёплые времена года – прогулки в Таврическом парке. Я очень любил этот сад: здесь город, который я ненавидел, отступал. Кругом стояли деревья, и было относительно безлюдно, и мечты переносили меня в любимые черноморские леса, особенно в длинные весенние сумерки с их золотистыми облачками в предзакатном небе. Мы с Вадей много читали, и моими излюбленными книгами стали тома «Жизнь животных» Брема. (В то время отец даже приобрел 10-и томное издание «Жизнь животных» Брема, которые сохранились у нас и поныне. *В.Г.*). Сначала я учился средне – запас знаний, привезенный из Сочи, был явно недостаточен, выручали только память и внимание на уроках. Особенно трудно было с французским языком. Ни слова не понимая, я заучивал уроки, пользуясь мнемоническим методом. Так однажды я название рассказа Шевелье Мерете (заслуженный аристократ) произнёс Швалье мерине, так как помнил русские слова «шваль» и «мерин». Класс залился хохотом. Тогда я и Вадя обратились к дяде Платону с просьбой пригласить учителя по французскому языку. Он нашел нам хорошего репетитора, и тут я впервые стал с удовольствием заниматься. Сравнительно скоро у меня в дневнике замелькали пятёрки в гимназических оценках. Знание французского языка мне много помогло в дальнейших занятиях. Репетитор занимался с нами всего около года. Постепенно мы с Вадей стали выходить в круглые пятёрочки. Дольше всего четвёрка у меня держалась по немецкому языку. Немец Ней, строгий учитель, пруссак из бывших военных, опытный педагог,

выпускавший свои учебники по немецкому языку, почему-то меня не возлюбил, на что я отвечал ему взаимностью. Учение в 4, 5 и 6 классах никаких ярких впечатлений не оставило.

Запомнились наши прогулки в воскресные дни. Недалеко от нас жил брат матери, врач дядя Костя (К.Я.Акимов-Перетц – гл. врач больницы Евгеньевской Общины) с женой тётёй Катей и четырьмя сыновьями. Со средними по возрасту Володей и Димой мы дружили так же, как и с Глебом, сыном тётёи Оли, другой младшей сестры матери. Он был несколько моложе нас с Вадей, но всегда с удовольствием участвовал в наших воскресных походах. А ходили мы в сторону Смольного института; лазили по заснеженным баржам, зимовавшим у пустынных берегов (движения здесь зимой никакого не было); лазили, поддерживая друг друга, на каменную стену института в надежде (увы, напрасной) увидеть гуляющих в парке, расположенном за этой высокой стеной, институток-смоляночек; дурачились, играли в снежки и просто дышали свежим морозным воздухом.

Письменную связь с запертыми в своём институте смолянками мы всё же поддерживали весьма оригинальным способом: наш учитель французского языка месьё Гурда (старик убогий, на отметки очень строгий!) после нашей гимназии шёл преподавать в Смольный. Его калоши, в носки которых вкладывались послания, служили почтовым транспортом (совсем в духе Чарской!) и свободно проникали в Смольный. Однако основу моей жизни тогда составляли занятия в гимназии и мечты, страстные, но затаённые в душе, о летних каникулах в Сочи, в лесу.

Когда наступала пора белых ночей, во время экзаменов, когда уже был близок заветный день отъезда из Петербурга, эта тоска становилась особенно острой и выливалась в полудетские неумелые стихи;

Вот и ночи белые настали наконец.
День иль ночь - не знаю.
И над книгою склоняясь, лето вспоминаю.
Высоко над городом тучки тают белые,
Солнцем позлащенные в небе голубом.

Но вот наступал день, который я ждал в течение всей долгой зимы, меня провожали на вокзал, поезд трогался и нёс меня из постылого города на свободу, на простор полей и лесов. В Любани, первой остановке, продавали букетики ландышей, я покупал один из них и, прильнув лицом к букету, ощущая его свежесть, с блаженством вдыхал, вдыхал, вдыхал тонкий запах весны, столь долгожданный запах свободы и счастья. Прошли долгие десятилетия, но запах ландышей, как по волшебству возвращает меня в далёкое отрочество – в его незабвенное счастье.

3. Летние каникулы в Сочи (1911-1915 гг.)

Зимой 1911 года после больших дождей на территории нашей дачи произошёл оползень. Основная часть дачи попала в его зону и была значительно разрушена. Она была срочно разобрана, уцелела только одноэтажная пристройка, где, кроме кухни, было ещё две маленькие комнаты и сарай с жилой комнатой, в которой продолжал жить Фёдор с же-

ной – теперь как сторож сада. Родители разрешили мне жить на даче в уцелевшей пристройке. Это устраивало и их, и меня, поскольку мать была занята четырёхлетним братом Лёвой и годовалой сестрой Лизой. О рождении Лизы я узнал ещё зимой в Петербурге и был почему-то очень огорчен этим известием (бессознательная ревность?). Я же был рад жить на даче почти самостоятельно, среди леса, пользуясь ничем не ограниченной свободой. Со мной поселился и Серёжа Тимофеев, с которым наша дружба продолжалась и после моего отъезда на учебу в Петербург. Так мы и жили двое счастливых мальчишек, деля досуг между лесом и морем, и посещением родителей в целях пополнения запаса продовольствия.

Навсегда запомнились ясные летние утра; свежий чистый лесной воздух; умывания студёной колодезной водой под щебет птиц в окружающем дачу лесу, пронизанном утренним солнцем; ощущение молодости и здоровья - ведь нам было 13-14 лет. Наш завтрак был прост: свежие овощи и фрукты из сада, краюшка хлеба и кружка колодезной воды. Затем мы уходили в лес с сачками для ловли бабочек, для наблюдений за жизнью птиц и особенно насекомых, за исследованием еще незнакомых или уже посещаемых ранее черкесских аулиц с их дикими яблоками, грушами, орехами, или бежали вниз с горы к морю и кидались голышом в его мягкие тёплые объятия, иногда участвовали в драках городских мальчишек. К обеду являлись каждый под свой родительский кров, чтобы к вечеру вновь вернуться на дачу с её тишиной и таинственностью близкого леса.

В это время мы уже совершали или сами, или с группами Горного клуба небольшие экскурсии в горы: на Агуру, в Кудепстинские пещеры, в каньоны реки Хосты. Однажды мы вдвоём с Серёжей отправились на Красную Поляну к знакомым Дорватовским. До Адлера мы доехали на дилижансе, а там заночевали в маленькой гостинице какого-то грека. Наш основной капитал составляла бумажка в 3 рубля, и мы, опасаясь нападения разбойников (подобные опасения в те времена не были беспочвенными. *В.Г.*) решили зашить её в подкладку брюк. Нам пришла на ум мысль, что, возможно, разбойники уже следят за нами, подглядывая в замочную скважину. Тогда Серёжа стал прохаживаться по комнате, недолго задерживаясь у двери, а я в это время с лихорадочной поспешностью зашивал бумажку в штаны. Рано утром мы вышли из Адлера – тогда ещё маленького городка, и пошли тропинкой вдоль реки Мзымты по полям деревень Молдовки и Первинки. Тропой было идти легче, чем по пыльному шоссе, на которое нас тропа всё же вывела. Теперь дорога шла в лесу и была совершенно пустынна. Только в одном месте мы прошли через небольшой, в несколько домиков, посёлок – Голицинку, или, как её тогда называли, Кура-Менза. Там мы позавтракали в единственной харчевне, расположенной у шоссе под огромным деревом грецкого ореха, к стволу которого была прибита большая доска с надписью: «Самовар – готово, Чай и лимонад». Дальше начались ещё более дикие места. Два или три раза нам повстречались пешеходы, но мы успевали из предосторожности юркнуть в кусты, а один раз под мостик. Тут мы оказались меж двух огней: наверху раздавались ша-

ги потенциальных разбойников, а тут, под мостиком из-под влажных камней выползла пятнистая черная с красным саламандра, которой мы тоже боялись. К счастью мы уцелели. День уже склонялся к вечеру, молодые ноги незаметно несли нас всё дальше и дальше. Мы знали, что скоро должны дойти до отворота дороги на монастырь, где собирались переночевать. В это время мы далеко сзади нас заметили настоящего разбойника: он определённо старался нас догнать, убыстряя шаги. Мы побежали и, представьте наш ужас, когда он тоже побежал за нами! К счастью, монастырь оказался очень близко, и мы, запыхавшись, вбежали в его деревянные ворота, а следом за нами прибежал и «разбойник». Он оказался студентом, как и мы, пробиравшимся на Красную Поляну. Его тоже пугало безлюдье дороги, и он хотел догнать нас, чтобы идти вместе.

Был прекрасный летний вечер, заходящее солнце кидало красноватые лучи на ближние скалы хребта Ах-Цу и снежные вершины дальних гор. В деревянной церкви монастыря шла служба и её торжественность произвела на меня неизгладимое впечатление. В последующие годы мне приходилось неоднократно останавливаться по дороге на Красную Поляну в этом монастыре. Это был маленький бедный мужской монастырь – Святотроицкий монастырь, где монахи кормились трудом рук своих (огороды, пасеки, большой фруктовый сад). Церковь и небольшой двухэтажный корпус, в котором жили монахи, были деревянными. Немного в стороне ближе к дороге, находился тоже небольшой деревянный двухэтажный странноприемный дом, где за порядком присматривала старушка, приветливо и безвозмезд-

но предоставляя ночлег путникам, которым 50-и вёрстный переход от Адлера до Поляны в один день был не по силам. Переночевали в этом доме и мы с Серёжей. Спали на тюфяках, набитых сеном и застеленных старенькими простынями. Монахи пригласили нас на весьма скромную вечернюю трапезу. Нас угостили таким кислым квасом из диких яблок, от которого у меня до сих пор сводит челюсти при воспоминании о нём, сами же они пили его за милую душу.

Утром мы уже втроём с «разбойником» незаметно дошли до Поляны и попали в гостеприимную семью Дорватовских. На следующий день мы с их сыном – студентом зоологом также незаметно (О! молодые ноги!) поднялись на хребет Ачишхо к тому месту, где теперь расположена метеостанция, а тогда там стоял драночный балаган-приют Горного клуба.

В первый раз предо мной раскинулось всё величие горного пейзажа и навсегда пленило мою душу. Вернулись мы обратно в Сочи на попутной подводе, на которой поселяне-эстонцы везли продавать на сочинский базар картошку и козий сыр. Они взяли нас по просьбе Дорватовских – такие случаи были редки.

К этому времени я уже научился хорошо плавать, и с другими мальчиками мы плавали к стоящим на рейде пароходам и ловили в воде монетки, которые кидали пассажиры с палубы – это был мой первый самостоятельный заработок.

В эти годы мы с Серёжей уже всерьёз занялись энтомологией, составляли из насекомых коллекцию

и определяли их научные названия, читая и даже изучая соответствующую литературу.

В эти годы на летних каникулах я уже много путешествовал в горах. В 1913 году группа сочинских студентов предприняла поход к тогда почти никому не известному озеру Рица. Хотя я был ещё гимназистом, мне было всего 16 лет, но меня приняли в их компанию. Я описал это путешествие в специальном рассказе и не буду повторять все перипетии нашего пути. Упомяну только, что после недельного пути мы пришли на озеро в тот день, когда утром оттуда ушла экспедиция Морозовой – первого исследователя озера Рица. Как сам путь по лесам и горам, так и само озеро, необитаемое и сохранившее в неприкосновенности свою первозданную красоту, произвели на меня глубокое впечатление.

Кроме длительных походов, мы нередко предпринимали 2-3-х дневные экскурсии, как я уже упоминал, в Кудепстинские пещеры, а также на Амуко, вверх по реке Сочи. В компании, кроме меня и Серёжи, с нами ходили мои друзья - в том числе Вася и иногда Вера. Кроме этого, мы много времени проводили на пустынных тогда пляжах. Счастливые полные солнца и радостей каникулы!

Часто мы отправлялись на малопосещаемую тогда речушку с живописными водопадами - Агуру с ночёвкой в шалаше на Орлиных скалах. Там мы разыгрывали сцены из времён каменного века и античной истории. Да разве перечислишь все забавы и дела, какие были у счастливых мальчишек, стоящих на пороге юности!? Мир был тогда спокоен, и никто не ждал и не предвидел грядущих войн и страданий.

4. Компания «Тарай-Тарай» и первая любовь.

Летом в 1913, 14 и 15 годах в Сочи на летнее время приезжала из Москвы почтенная дама Панютина с тремя взрослыми сыновьями-студентами Платоном, Юрием и Сергеем. Это в прошлом, видимо, весьма зажиточная дворянская семья, отличалась гостеприимством и хлебосольством. У них обычно собирался кружок молодёжи, и там звучали за чайным столом горячие споры на литературные, исторические и философские темы. Душой этой молодой компании был Юра – ярчайше выраженный тип сангвиника. Компания эта была очень дружна, хотя духовный мир каждого был резко индивидуален, и тем для споров было неиссякаемое количество. Иногда, вечерами, мы собирались в городок парке, и поскольку парк не освещался, чтобы найти друг друга, у нас был крик-пароль «Тарай-тарай». Так мы иногда в кромешной темноте парка находили своих товарищей. Мы любили располагаться на разостланных бурках на пляже, у чуть шуршащих о гальку волн, глядеть на звёзды и робко пожимать в темноте руку той, которая владела твоим сердцем, до поцелуев дело никогда не доходило. Моим сердцем в эти годы прочно завладела дочка нашего соседа профессора Мухина из Ростова – Вера. Это была первая юношеская, чисто платоническая любовь, вся сотканная из нежных голубых и розовых красок утренней зори. Мы много времени проводили вместе в компании «Тарай-Тарай», устраивали каваль-

кады в окрестности Сочи, пешие прогулки и никогда не старались заглянуть в духовный мир друг друга. Мне казалось, что первая любовь всегда бывает такой: проекцией твоей мечты на экран, которым является человек. Вера, или как чаще её звали Руня, благосклонно относилась к моим чувствам, часто навещала меня и Серёжу Тимофеева на нашей «даче».

Тем не менее, следуя своему жизненному кредо: делу - время, а потехе - час, я твёрдо решил закончить обучение в гимназии на круглые пятерки и получить золотую медаль. Для этого я был вынужден в лето 1914 года, года солнечного затмения, года начала Первой мировой войны и года моего самого сильного увлечения Верой, оборвать свой отдых в Сочи на две недели раньше начала занятий в гимназии и уехать в Петербург. Мне было необходимо подогнать свои знания по некоторым предметам, по которым чувствовал себя не вполне на высоте. Помню, что перед моим отъездом мы с Верой до глубоких сумерек гуляли вдвоём в лесу за нашей дачей, сидели под ветвями дикой яблони на старой черкесской расчистке. Я не помню, о чём мы говорили с ней в этот прощальный вечер, но ни разу я не решился её поцеловать, хотя чувство разлуки переполняло моё сердце. Нам обоим было по 17 лет.

5. Последние гимназические годы

Незаметно прошли каникулы 1911 и 1912 годов. С грустью, но с чувством неизбежной необходимости я снова возвращался в Петербург.

Однако последние классы гимназии оставили в моём сознании гораздо более яркое воспоминание, чем предыдущие классы. Некоторые предметы мне стали нравиться, и я занимался ими с большим удовольствием. Как ни странно, к ним относился латинский язык. Я с увлечением читал записи Цезаря и Тита Ливия, относительно редко прибегая к словарю. Особенно мне нравилось декламировать стихи Овидия и Горация, и если у первого автора мне нравился чёткий, как шаг римских легионов, чеканный ритм гексаметра, то у Горация меня пленяла неувядающая красота лирики.

Интересны были и уроки географии: наш учитель много путешествовал и нередко иллюстрировал свои уроки собственными или покупными диапозитивами. Поскольку тогда это было в новинку, мы, как зачарованные, смотрели на рощи пальм, пирамиды, берег Мёртвого моря, на большие западные города и особенно громко выражали свой восторг, когда в человеке, сидящем на спине верблюда или слона, узнавали нашего учителя.

Нравился мне и французский язык, который я и Вадя уже довольно хорошо знали, так как после занятий с репетитором, о котором я уже упоминал, читали со словарём приключенческие книги.

Но самыми любимыми были уроки литературы. Нашим преподавателем был молодой Эйхенбаум, ставший в последствии известным литературоведом и критиком. Он любил литературу и прививал эту любовь и нам. В 7 и 8 классах мы издавали литературный журнал, печатая его в 40-50 экземплярах на гектографе. В этом журнале мы помещали наши рассказы, стихи и рисунки. К этому времени у

меня, кроме Вади, появился в классе ещё один друг – Коля Рубинштейн, и наша тройка стояла во главе журнала. Коля прекрасно рисовал, а я был редактором и помещал в этом классном журнале прозу и стихи – в нём я поместил своё первое большое стихотворение «Морская царевна», навеянное одноимённой сказкой Андерсена.

Проявлением моего поэтического творчества послужило и то, что я «влюбился» в свою кузину Марусю – дочь дяди Саши. В её честь я писал плохие, но вдохновенные стихи, и на этом всё закончилось. Но стихи были полны патетики: у кузины действительно были красивые глаза, о которых я писал:

В них дивные краски сокрыты,
И я миром клянусь, что достойны они
Бессмертной красы Афродиты.

Кстати, об Афродите. С греческой и римской мифологией мы были основательно знакомы по гимназическому курсу, но кроме того я воровским способом разыскал на самой верхней полке большого книжного шкафа в кабинете дяди Платона переводные, легкомысленные французские романы. В них действие происходило среди нимф, сатиров, фавнов и прочей олимпийской мелкоты. Под впечатлением этих романов я начал сам населять леса, ручьи и горы миром этих чувственных полубогов-полулюдей и мир засверкал такими яркими красками, каких раньше я не мог себе представить. Я почти поверил в жизнелюбивых древних богов, и язычество вытеснило из моего сердца зачатки христианства, заложенные с детских лет. Я был готов мо-

литься божествам деревьев, водопадов, скал. Мне казалось, что я слышал в шелесте листвы шепот человеческих губ, в рокоте или журчании ручья – серебристый смех купающихся наяд, в грохоте грома – гнев Юпитера, хотя из уроков физики я прекрасно познал природу грома. Как-то ближе мне стала и поэзия, особенно Пушкин, нередко использующий мотивы мифологии в своих стихах. Много, много лет спустя я, вспоминая свои юношеские увлечения, писал:

Я помню, давно уже это всё было:
Вместо лысины густо вились волосы
На моей голове, ярче солнце светило,
И на Лысой горе зеленели леса.
Огромных дубов густолистные дубравы,
Где в зелени солнечных, светлых полей
Пахли медвяно цветущие травы,
Где тропкой лесов, смеющийся Пан
Порой проходил, и звучали тимпаны.
И слышался смех серебристый дриад.
Я верил тогда в царство светлое Пана -
Ведь это всё было лет тридцать назад.

Ни дядя Платон, ни тётя Лиза, в сущности, не занимались Вадиным и моим воспитанием, если не считать того, что с возрастом нам иногда дарили интересные игрушки, как например, большую новость того времени – детскую станцию искрового беспроводного телеграфа, статическую электромашину. Хотя следует упомянуть, что далеко не часто дядя Платон звал Вадю и меня в свой кабинет и там, у горящего камина, читал нам Шекспира, или Пушкина,

или Салтыкова-Щедрина. Обычно же их вечера посвящались приёму гостей, поездкам на званые обеды, в театр на Шаляпина, Собинова, Нежданову. Оба они были красивы, прекрасно одевались и являлись весьма представительной парой.

В самый канун Первой мировой войны, в 1914 году, дядя и тётя переехали в новую огромную квартиру, купленную ими в новом кооперативном доме, на углу Бассейной улицы (ныне улица Некрасова) и Греческого переулка. В этой квартире я уже получил отдельную комнату.

Началась война. Дядя Платон на общественных началах работал в Организации союза городов. Както зимой его послали на фронт с подарками для солдат. Вадю и меня он взял с собой. Был период затишья, и нас допустили в передовые окопы. Я ясно помню, как мы шли, пригнувшись, по окопу, вырытому на склоне песчаного холма среди редкого сосняка. Нам показали кучи взрытого песка в метрах в 50-100 от нас и объяснили, что там немцы. Ни одного выстрела я не слышал. Потом мы были на перевязочном пункте: белые сильные тела солдат, изувеченные осколками и пулями, произвели на меня очень сильное впечатление – я как-то подсознательно ощутил бессмысленность и жестокость войны. Невольно пришли на ум слова Лермонтова:

«Я думал: жалок человек. Под небом много места всем,

Но беспрестанно и напрасно один воюет он. Зачем?»

В небе, над нашими позициями, иногда пролетал фанерный аэропланчик и вокруг него так эффектно распускались белые облачка разрывов шрапнелей. Вот и всё, что мне, 16-летнему мальчику, запомнилось от этой краткой поездки на фронт, где-то под Ригой в 1915 году.

И еще одна поездка с дядей Платоном запомнилась мне на всю жизнь. Платон Васильевич работал как адвокат по дворянской опеке. Раз как-то он сказал, что едет осматривать старый дом, который был заперт со времён войны 1812 года, и предложил Ваде и мне поехать с ним. Я хорошо не помню, где это было, но где-то недалеко от Петербурга. Огромный дворцовой постройки дом с колоннадой по фасаду, с забитыми окнами и дверьми стоял среди запущенного парка с высохшими каналами и водоёмами. Его внутренность была нетронута: полуистлевшие ковры, потускневшая позолота на мебели и рамах картин, большие зеркала, старинные клавишины – всё под слоем пыли и паутины. Казалось, что его обитатели в мундирах и платьях времён романа «Война и мир», закончив чопорный менуэт, вышли подышать прохладным воздухом летнего вечера в парк и больше назад не вернулись, так как сказке минуло сто лет. Когда мы уезжали, то уже стемнело и в высоких окнах снаружи отражались далёкие огни, и мне казалось, что его хозяева вернулись в дом, и там снова звучит музыка и продолжается бал.

Много лет спустя мне не раз снился этот дом в самых романтических снах, и, как ни странно, самый яркий из них приснился мне несколько лет спустя, когда я спал на жестком соломенном тюфяке

в странноприёмном доме монастыря по дороге на Красную Поляну.

Последний восьмой класс гимназии. Теперь я беспрепятственно занимаюсь в своей отдельной чистой и светлой комнате. На моей книжной полке среди любимых книг основное место занимают серьёзные книги по естествознанию: я собирался после гимназии стать студентом-естественником, а в будущем энтомологом. Мы оба, я и Вадя, занимались упорно и с увлечением. Многие опыты по химии и физике повторяли дома, иногда с большим грохотом. Меня по-прежнему увлекали уроки литературы. Продолжал издаваться гимназический литературный журнал. С увлечением писал и прозаические сочинения, которые нам часто задавал Эйхенбаум. Продолжал увлекаться и латинскими стихами. Большим счастьем были и письма от Веры. Однако они приходили всё реже и реже. Близилась весна, а с нею и выпускные экзамены. А война всё набирала темпы, мобилизации следовали одна за другой. Вот-вот должны были призвать и моих одноклассников. Практически у юношей, оканчивающих гимназии, было только два пути: юнкерское училище или медицинский факультет. Надо сказать, что мысль стать хирургом, помощником отчима, приходила мне в голову и ранее и сейчас под давлением вышеизложенных обстоятельств окончательно вытеснила желание стать энтомологом.

Мы все, конечно, очень волновались перед выпускными экзаменами, но для меня они прошли как-то совсем спокойно и благополучно. И вот в конце весны, в торжественной обстановке нам вручили аттестат зрелости - свидетельство об оконча-

нии гимназии. Трём ученикам нашего класса, в том числе мне и Ваде, как окончившим гимназию на круглые пятерки, еще вручили и золотые медали. Мне лично это давало право быть принятым на медицинский факультет без вступительных экзаменов. Дядя Платон был, видимо, очень доволен нашими успехами пригласил портного, и нам в несколько дней сшили студенческие тужурки с золотыми пуговицами и подарил студенческие фуражки. И так мы без пяти минут студенты! Вадя подал заявление на математический факультет в Петербургский университет, а я послал свои документы в Москву на медицинский факультет университета.

Лето 1915 года. Начало трудовой деятельности.

Когда летом в 1915 году, по окончании гимназии я приехал в Сочи, то с грустью узнал, что Веры и её родителей в Сочи нет. Но мои друзья Серёжа и Саша уже ждали меня, и мы опять много времени проводили вместе.

О, дружба! Что есть в мире краше?
Где лучше сердце отдохнет?
Когда за дружескою чашей
Беседа мирная течёт.

Правда, вместо чаши мы пили чай из стаканов и кружек, но наши встречи были очень дружны. Мы обсуждали планы походов в горы и много времени

проводили на пустынных пляжах, купаясь и загорая без меры.

В это лето мы втроём совершили большой поход в горы, на озеро Кардывач. Наши ноги не знали усталости, а аппетит не имел предела, и одной из ярких страничек воспоминаний является котелок пшенной каши, вокруг которого мы проводили за трапезой часы отдыха на Кардываче.

В середине лета пришла открытка из Москвы, извещавшая меня, что я зачислен на первый курс медфака Московского университета. Что заставило меня подать заявление в Москву, а не остаться в Петербурге? С одной стороны, я не хотел более затруднять дядю Платона и тётю Лизу заботами о себе, а с другой - хотелось независимой студенческой жизни, жизни в среде богемы. В Москве жили Понютины, и там же учился Вася. Делая этот выбор, я не знал, не ведал, от какой смертельной опасности я уходил!

Полученная в Сочи открытка о моём зачислении возымела следующие последствия: отчим позвал меня в кабинет, поздравил и сказал: «Теперь ты – медик. С завтрашнего дня зачисляю тебя санитаром в лечебницу. Не стыдись чёрной работы: надо пройти все звенья медицинской работы, чтобы стать хорошим врачом. Зарплату будешь получать как все, и работать тоже как все».

Итак, в июле 1915 года я стал санитаром в лечебнице, владельцем и хирургом которой был мой отчим. Работа эта меня не огорчала: я хотел стать хорошим врачом. Я верил в разум и опытность моего отчима и работал старательно. Однако не обошлось без ошибок. Одна из них дала повод тому, что меня прозвали «доктор Шпатель». Дело было

так: однажды во время врачебного приёма отчим вызвал меня в кабинет и сказал: «Принеси мне шпатель, он лежит в перевязочной на столе». Я еще не знал, что шпатель – это медицинский инструмент – лопаточка для прижата языка при осмотре горла, и решил: Шпатель – это фамилия пациента. В перевязочной действительно на столе лежал больной мальчик, я осторожно взял его на руки и понёс в кабинет отчиму со словами: «Вот Шпатель».

Когда я работал в лечебнице, у меня меньше времени оставалось для купания, но зато все вечера были свободны, кроме дежурств, но после них был целый выходной день, а кроме этого, я имел свои, правда, небольшие деньги, заработанные своим трудом.

Быстро промелькнуло лето, и в конце августа я уехал в Москву, чтобы начать самостоятельную студенческую жизнь.

После моего отъезда отчима мобилизовали и отправили врачом на Кавказский участок фронта, где шли бои против турок, воевавших в Первую мировую войну на стороне немцев против России.

Глава III Ю н о с т ь

1. Первый курс института, Турецкий фронт (1915-1916 гг)

В Москве я поселился в одном из переулков Арбата, в квартире, где снимали комнаты несколько студентов, а также Е.Н.Неёлова и её дочь Маруся – студентка 5 курса медфака. Они - то и сняли по просьбе матери для меня комнату. Они были сочинцами – нашими знакомыми.

С трепетом в сердце отправился я впервые в университет. Медфак помещался в старинных зданиях на Моховой, так что ходить мне было недалеко. В университете я скоро освоился, с увлечением посещал лекции и практические занятия, стал старостой курса. С упоением проводил часы в анатомичке (но курить не начал).

Скоро появились новые друзья – в молодости люди сходятся быстро. Яблоков и Королёв - серьёзные, простые и честные юноши - были моими однокурсниками. Они познакомили меня со своими землячками, студентками также первого курса, но не нашего вуза. Мы изредка собирались по вечерам у девушек – они снимали комнату на Собачей Площадке. Прекрасные были вечера! Чистая юношеская дружба с лёгким налётом романтики, но без всяких элементов секса, полная взаимного уважения, до сих пор сохранила в моей душе светлые и тёплые воспоминания.

Был у меня и другой товарищ, тоже мой однокурсник Кавганкин, сын священника. С ним мы

много бегали на лыжах в Сокольниках, не заводя никаких знакомств, пили чай у «Воробьихи» – чайной в лесу, любимом месте встреч лыжников – студентов и курсисток. Сокольники тогда были мало обжиты, и за ними начинались поля и перелески. «Воробьиха» была прекрасная чайная, почти в лесу, полная пара от самовара, аромата жареной колбасы и молодых голосов и смеха.

Так проходил первый семестр. Я отдавал много внимания и времени занятиям анатомией и немного - упомянутым развлечениям. Я послал несколько писем Вере, но от неё – ни ответа, ни привета.

Близилась зимние двухнедельные каникулы. Я решил съездить домой в Сочи, и по пути остановиться на несколько часов в Ростове (там всё равно была пересадка на новороссийский поезд), и узнать причину молчания Веры.

Когда в Ростове я вошёл в прихожую квартиры Мухиных, ко мне вышла мать Веры и сказала, что Вера меня видеть не хочет и что мне следует её больше не беспокоить своими письмами. Я ответил, что хочу это услышать от самой Веры, и тогда стоявшая, видимо, за дверью Вера вышла и сказала очень смущённо: «Да, это правда». Я повернулся и вышел ошеломленный таким приёмом – боль пришла позже. Корабль первой моей любви разбился о рифы желаний родителей Веры иметь другого зятя. Семейная жизнь Веры в дальнейшем не была счастливой.

Я провёл отвратительный вечер в номере гостиницы и на следующий день уехал в Сочи. Боль души, однако, была нестерпима, и я через два-три дня по приезде в Сочи ушёл пешком один на Красную

Поляну, чтобы там, среди заснеженных лесов и гор, заглушить сердечную боль. Несколько грустных стихотворений послужили надгробием этой, по существу, детской любви. Но тоска еще долго терзала мою душу.

Быстро промелькнули дни зимних каникул, и надо было возвращаться в Москву. Шла война, пароходы, опасаясь подводных лодок, не ходили, пришлось два дня добиться на дилижансе до Туапсе, да еще в Ростове была пересадка.

Второй семестр был труден: надо было закончить анатомию и сдать экзамен, считавшийся на I курсе самым трудным. Занимались очень много и усердно. Кроме этого, побуждаемые патриотическими чувствами, очень многие студенты и курсистки посещали по вечерам курсы братьев и сестёр милосердия. Все мои друзья и я тоже посещали эти курсы. И вот пришла весна 1916 года, экзамены сданы хорошо, и я переведён на второй курс. Однако я решил не ехать домой в Сочи, а поступить добровольцем на летние каникулы братом милосердия в отряд Союза Городов (полувоенная общественная организация) и просил отправить меня на турецкий фронт, надеясь встретится там с отчимом, которого я любил и по которому тосковал, да и с Верой в Сочи мне не хотелось встречаться. Помню, мать проводила меня на вокзал, и вот я в компании таких же студентов-добровольцев уже еду в Батум на фронт. Путь по железной дороге оставил мало впечатлений, зато, когда наш транспорт с потушенными огнями покинул в глухую ночь батумский порт и нам роздали спасательные пояса, я почувствовал, что война рядом. Транспорт направлялся в только что занятый

нашими войсками Трапезунд, куда мы прибыли с рассветом. Впервые чужой восточный город предстал перед моими восхищенными глазами: дома лепились по амфитеатру и спускались к неглубокой бухте, море черепитчатых красных крыш, свечи минаретов, тёмная зелень кипарисов.

Я попал вместе с двумя моими однокурсниками в небольшой госпиталёк, обслуживающий пленных турков. Помещался он в доме с небольшим садом. Дом стоял высоко над бухтой и раньше принадлежал какому-то немцу: клумбы в садике были орнаментированы пустыми пивными бутылками.

Я был ещё медиком-несмышлёнышем и учился у более опытных сестёр ставить банки и делать перевязки. Дежурил по ночам (Ох! Как хотелось спать!). Но свободное время посвящал прогулкам по почти безлюдному, разгромленному городу с огромным фотоаппаратом на боку, стараясь запечатлеть восточный колорит Трапезунда, его узкие улочки с нависшими над ними вторыми этажами, его мечети, улицы и площади. И никто не интересовался моими фотозанятиями в прифронтовом городе!

Месяц спустя, как я попал в Трапезунд, отчима тоже перевели главным хирургом большого трапезундского госпиталя. Госпиталь обслуживал российских воинов и размещался в предвостии города, в шести километрах от нашего госпиталя. Но что могли значить для меня, истосковавшегося по отчиму, эти шесть километров?!

Я был увлечён в основном фотографией и не обращал внимания на молодых сестёр, чем приводил их в крайнее удивление и недоумение. Отчим познакомил меня с монахами-францисканцами. В их

монастыре я посещал большую библиотеку, где были богато иллюстрированные книги о Востоке на французском языке.

В Трапезунде я переболел желтухой в тяжелой форме. Отчим тоже болел, но его мучили сердечные боли и это причиняло мне много беспокойств.

Но вот пришёл октябрь – конец нашего студенческого контракта.

2. Второй курс института. Революционный 1917 год

Я снова вернулся в Москву, не заезжая в Сочи. Второй курс университета. Наиболее любимым предметом была гистология и аналитическая химия. Зимние каникулы провёл в Петербурге среди родных. Грянула Февральская революция с её розовыми надеждами, манифестациями. У нас в университете был организован какой-то революционный пункт. Я, как староста, командовал какими-то автомашинами, сам мало понимая, что к чему, но победа почти бескровная. Ура! На радостях я с какой-то знакомой курсисткой чуть не всю ночь бродил под дождём по взбудораженной Москве. Свобода! Равенство! Братство!

Вечера иногда проводил с Королёвым и Яблковым у их землячек, иногда в семье Панютиных.

Мы тогда плохо понимали, что произошло. Мы, то есть молодая интеллигенция, студенчество в своей большей части, считали, что свершилась великая победа над могучим чудовищем-самодержавием и что теперь нас ждёт безоблачный путь к всеобщему счастью. На самом же деле под натиском всеоб-

щего недовольства затянувшейся войной, экономической разрухи, под натиском вспыхнувшего в Петербурге голодного бунта рухнуло насквозь прогнившее дерево самодержавия. Рухнуло само – об этом говорит хотя бы то, что Февральская революция была по существу бескровной.

Образовался политический вакуум. Кто мог его заполнить?

Когда-то в аналогических обстоятельствах видную роль играла христианская вера. Но к началу XX века она полностью потеряла свою моральную и государственную самостоятельность и силу. Начало этому положил своим распутством Иван Грозный и Пётр I, превратив церковь в государственный департамент по религиозным вопросам, в подпевалу государственной власти. Она давно потеряла своё моральное влияние на народные массы.

Бессильно было и чиновничество, потерявшее авторитет, и молодая ещё неокрепшая и политически малоопытная буржуазия, и тонкая идеалистически настроенная в своей массе прослойка интеллигенции.

Временное правительство во главе с адвокатом Керинским также не обладало ни авторитетом, ни силой. Оно не способно было направить разбушевавшиеся взболомученные воды народного гнева в правильном с его точки зрения направлении. Все надежды возлагались на Учредительное Собрание. В этой обстановке политической неопределённости и прогрессирующей экономической разрухи и произошла весна 1917 года.

Собираясь у Панютиных или в своей студенческой компании, мы без конца обсуждали политиче-

ское будущее России, и оно продолжало рисоваться нам в розовом свете и в дружеских беседах, и в студенческих сходках. Однако всё быстро менялось. Я заметил это прежде всего на заседаниях старост факультета. Прежнее единодушие рушилось – стали выявляться три группы: правая, левая и самая многочисленная, к которым принадлежал и я – центристская, которую по современным оценкам надо было бы назвать левоцентристская. Группу крайне левых возглавлял мой однокурсник некто Каминский. Прирожденный трибун, пламенный оратор, внешне он чем-то напоминал молодого М.Горького. Когда мы большинством голосов отклоняли его часто необоснованные претензии к администрации, он окидывал нас злым отчуждённым взглядом, и тонкие его губы кривила усмешка полная презрения. В тридцатых годах он стал министром (тогда эта должность называлась «народный комиссар») здравоохранения. Однажды в Москве мне пришлось обратиться к нему с личной просьбой. Он сделал вид, что не узнал меня, и холодно отказал мне. В 1937-1938 году я, как-то зайдя в Сочинскую аптеку, увидел, что рама, в которую только накануне был вставлен его большой портрет, пуста. Тогда я понял, что больше с Каминским я никогда не встречу и о моём знакомстве с ним лучше намертво забыть. Это тогда никого не удивляло – такова была судьба многих, очень многих.

Но вернёмся снова в 1917 год. Голод. Очереди у молочных и хлебных магазинов. Несмотря на всё, это второй курс удалось закончить вполне успешно. И вот я еду в Сочи в переполненном вагоне на долгожданные трёхмесячные каникулы. От Туапсе до

Сочи мне пришлось добираться на дилижансе в течение двух дней с ночёвкой в Лазоревке. По приезде домой, я с радостью узнал, что отчим находится дома. Его по болезни сердца демобилизовали. В моё отсутствие Сочи подверглось бомбардировке с моря с борта немецкой подводной лодки. Хотя обстрел и не вызвал каких-либо разрушений, но паники он наделал в городе много. Однако один снаряд подводной лодки попал в стену чердака нашего дома, но, к счастью, пожара не произошло.

Лето я провёл, работая в лечебнице отчима, осваивая работу рентгено техника и лаборанта. Много времени проводил, плавая в море и загорая на пляже. Не оставив почти никаких воспоминаний, промелькнуло лето. Веры в Сочи не было, а моё сердце всё ещё принадлежало ей.

И вот снова Москва. Сентябрь 1917 года.

Разруха всё более и более усиливалась, становилось всё голодней. Но занятия в университете продолжались, и я упорно учился, так как моими мыслями и чувствами безраздельно владело желание стать хорошим хирургом, достойным восприимчивым дела отчима. Политика меня относительно мало интересовала - ведь вот-вот должно было собраться Учредительное собрание, которое, как мы надеялись, установит новый государственный строй. Отдавая всё время учёбе, я мало соприкасался с народными массами, но одна встреча врезалась мне в память. Я пришёл к сапожнику, работавшему в полуподвальном помещении соседнего дома, и нашел его предельно озлобленным голодом, разрухой, отразившейся на его заработке. «Это всё социалы мутят, убивать их надо», - зло заявил он мне. Явно он

не знал точно, кто такие эти «социалы», но убивать он был готов. На Арбате я в следующие дни увидел мальчишек 14-15 лет в солдатской форме с ружьями. Это были «ударники», на них была, помимо милиции, возложена охрана порядка! «Вся власть Учредительному Собранию!», «Вся власть Советам Рабочих и Солдатских депутатов!» Спорили между собой появившиеся на улицах плакаты и лозунги. И вот в первых числах ноября (по н. стилю) этот спор был разрешен путём вооруженного восстания. Я как раз в эти дни болел ангиной и лежал дома с температурой. Когда я поправился, всё уже было закончено: юнкера и офицеры, стоящие на стороне Учредительного Собрания и Временного правительства, капитулировали. Капитуляция произошла после трёх дней сопротивления перед лицом значительно превосходящего количества вооружённых рабочих и присоединившихся к ним солдат, из расквартированных в Москве воинских частей и дезертиров из действующей армии. Однако и в этот раз особо кровопролитных столкновений не было.

Мой товарищ по старостату зашёл навестить меня и рассказал мне следующую историю: в первый день восстания старосты факультета собрались в клинике на Девичьем Поле и решили вместе с группой студентов-медиков отправиться к Университету на Моховой. Однако по дороге их каким-то образом занесло в юнкерское училище, которое размещалось в начале Арбата, и многие из них присоединились к юнкерам, стоявшим на стороне Временного правительства. «Нас моментально зачислили в студенческий батальон и стали обучать обращению с винтовкой, которую с двумя обоймами патронов

выдали каждому из нас. На ночь нас расположили в огромном дортуаре на добрую сотню кроватей. Однако спать нам не пришлось, - продолжал мой товарищ. - Около полуночи нас по тревоге подняли и направили в Кремль. Там нам выдали по большой брезентовой сумке и объяснили, что, ввиду острого недостатка патронов, необходимо с боем прорваться к Симонову монастырю, где имелись запасы патронов у большевиков и, захватив как можно больше патронов, вернуться в Кремль. Ночью нас, приблизительно человек пятьсот, опять выстроили на Красной Площади у стены Кремля. С минуты на минуты мы ждали приказа углубиться в темноту занятых противником улиц. Было страшно. И вдруг всем было приказано снова вернуться внутрь Кремля. Оказалось, что группе офицеров, переодетых матросами и рабочими, удалось без выстрелов получить в Симоновом монастыре целый грузовой автомобиль патронов. В результате этой ночной операция была отменена и много студенческих жизней было спасено». Следующий день мои товарищи по курсу провели где-то в районе Никитских ворот, охраняя подступы к Кремлю, а на третий день всех студентов и гимназистов вернули в юнкерское училище и распустили по домам ввиду заключенного перемирия. Мой товарищ как будто с облегчением сказал: «Слава Богу, я н разу не выстрелил в человека!»

Из панютинской компании и моих друзей по курсу никто не пострадал. Занятия в университете возобновились, но шли «через пень колоду» из-за нарушения работы городского транспорта и голода, и вскоре нас распустили на месячные зимние каникулы. Я решил на месяц съездить в Сочи, повидать-

ся с родными и запастись деньгами. Поскольку все считали, что «эта смута» закончится в две-три недели, я все свои вещи оставил в Москве (даже своё сокровище – золотую медаль за отличную учёбу в гимназии) и уплатил хозяевам квартиры за месяц вперед за свою комнату. Разруха на транспорте делала путь в Сочи нелёгким, но я был силён, молод и меня это мало смущало.

3. Сочи - Одесса (январь 1918- июнь 1919.)

Получив справку от домового комитета о том, что я никакого участия в военных событиях конца Октября не принимал, я стал готовиться к отъезду. Меня упросила помочь ей добраться до дома мало-знакомая курсистка. Её родные жили в Осетии. Звали её Вера Джаврова. Она, как все горянки, была стройна, а на матово-белом лице так и горели угли чёрных больших глаз. Было в ней что-то хрупкое и беспомощное, и я согласился на её просьбу и был её рыцарем в течение всего многодневного пути от Москвы до Армавира, где наши пути разошлись. Однако это путешествие оставило какой-то след в моей душе. Видимо, у неё тоже. Почти полстолетия спустя ко мне в дом зашла пожилая женщина и передала привет от Веры Джавровой. Я ответил ей стихотворным письмом в весёлом духе, но ответа не получил (*Шестьдесят восьмая весна*. В.Г.). Её подруга сообщила, что вскоре после получения моего письма Вера Джаврова умерла.

К разрухе мы тогда привыкли, и подробности этого пути и того, как я добирался до Сочи, стёрлись из моей памяти.

В Сочи я стал работать в лечебнице моего отчима, так как красновский и калединский фронты Гражданской войны прервали все пути сообщения с Москвой. Кроме меня, в Сочи застряло несколько студентов и курсисток, и мы образовали студенческое общество, ставили в Общественном собрании самодеятельные спектакли, небольшой доход с которых шёл в помощь наиболее нуждающимся из нас.

Весной 1918 года гимназисты, оканчивающие Сочинскую гимназию, обратились к нам с просьбой написать какую-нибудь весёлую вещицу к окончанию занятий в гимназии. Я в соавторстве со студентом Колей Стаинооглы решили выполнить их просьбу и написать что-то вроде оперетки. Называлась она «Жизнь гимназиста» и состояла из трёх актов: 1-й класс гимназии, середина обучения в гимназии и выпускной класс. Вот несколько арий из 1-го класса:

(на мотив чижика)

Репетитор приходил,
Массу денег проглотил.
Наш ребенок исхудал,
Тоньше щепочки он стал!
Если выучишь урок,
Спеку сладкий пирожок.

(на мотив «Чайки»)

Экзамен начался, стоит гимназист,
Стоит и дрожит, как осиновый лист.

Но, чу! Вдруг вопрос иезуитский раздался,
Холодной рукой развернут журнал,
И, пискнув от страха, несчастный замялся,
Мгновенье! И двойка вещает провал.
А бедная мать у двери ожидает
И молится Богу, что б выдержал сын,
Ведь он только знает, как сердце страдает,
Лишь он только знает один.

Средние классы (5-6) (не помню на
какой мотив)

Вчера по улице большой мы поздно вечером
шатались весёлой пьяною гурьбой,
Вдруг видим столб, какой-то странный столб
фонарный, столб, но без огня.
Чтоб свет зажечь во мгле туманной, коллеги
выслали меня.

«О чём задумался, детина? - я столб
приветливо спросил-
Скажи в тебе нет керосина иль тебя тут
кто-то потушил?»

«Ужель я вижу гимназиста?» - вдруг бас
знакомый зазвучал

И я в столбе при свете спички, увы!
инспектора узнал.
«Давно Вы у меня в примете, и Вас я пьяным
нахожу,

В педагогическом совете о сём я завтра доложу».

Вот из таких песенок и состояли все три акта.
По просьбе гимназистов мы старались сохранить
портретное сходство с рядом учителей и учеников.
Я сочинял текст, Коля подбирал музыку, которая по-

степенно усложнялась от первого класса до восьмого. Этот спектакль прошёл с успехом на сцене сочинского Общественного собрания и даже, к нашему удивлению, в Майкопе.

Так, не оставив особых воспоминаний, прошёл остаток 1917 года и первая половина 1918. Бурные политические события отодвинули личную жизнь на второй план. В начале года в Сочи образовалась Советская власть большевиков. Лечебница отчима и только что построенный жилой дом, как и многие другие лечебные и курортные учреждения, были национализированы, но отчим, пользовавшийся огромным авторитетом и уважением, был оставлен её заведующим. 5 июля Сочи заняли грузинские войска, национализация была отменена, и лечебница и дом были возвращены отчиму в частную собственность.

Лечебница остро нуждалась в пополнении медицинского оборудования и мягкого инвентаря, а приобрести его было негде.

В конце августа группа сочинских армян-табачков, объединившись, подрядили парусный корабль, чтобы на нём везти «за море» табак и где удастся продать его. Арут Кочумян, знакомый и пациент моего отчима, уговорил его вступить к ним в пай и на вырученные деньги приобрести необходимые для лечебницы материалы. Отчим отправил меня в качестве своего доверенного для медицинских закупок.

Это путешествие оставило большой след в моей памяти. Корабль назывался «Зефирос». Это было относительно большое трёхмачтовое деревянное судно с поперечными парусами на двух передних мачтах и косым парусом на задней мачте. Команда

из 10 человек во главе со шкипером почти всегда была полупьяная и весьма напоминала команду пиратских кораблей, о которых я читал в приключенческих книжках.

В один из предвечерних часов августа 1918 года «Зефирос» поднял паруса и направился в Туапсе. Тогда мне было 21 год. В дорогу я взял учебник внутренних болезней Штрюмпеля, надеясь не только пополнить свои знания в медицине, но также в немецком языке.

В Туапсе мы пришли в ясное жаркое утро, не успели мы как следует пришвартоваться к молу, как со стороны новороссийского шоссе затрещали выстрелы. Через полчаса выяснилось, что это Таманская армия, описанная Серафимовичем в «Железном потоке», уже врывается в Туапсе. На «Зефиросе», естественно, началась паника: надо было спасти табак от неизбежной реквизиции. Затарахтел моторчик, и «Зефирос» медленно начал уходить в море. Когда мы удалились уже километра на четыре, на берегу прогремел выстрел орудия и за кормой корабля в полукилометре поднялся фонтан воды. Но дул уже свежий бриз, и «Зефирос», подняв все паруса, ходко шёл в море, всё более и более удаляясь от пытавшейся догнать нас маленькой моторной лодки. Однако страх погони был настолько велик, что Кочумян приказал шкиперу идти в открытое море, пользуясь попутным ветром. Только к вечеру страх прошёл, все успокоились, но корабль продолжал идти прежним курсом. Все уgomонились, я устроился в складках запасного кливера на самом носу корабля. Была светлая лунная ночь. Прямо подо мной нос корабля рассекал тёмную воду, отбрасывая полосы

белой пены, а сзади вздымалась белая громада парусов, как распротёртые огромные крылья. Тяжёлый корпус корабля не испытывал ни малейшей качки или каких-либо сотрясений. Мне казалось, что я лежу над тёмными просторами моря среди лунной тишины. Это незабываемое ощущение так врезалось мне в память, что теперь, шестьдесят лет спустя, мне кажется, что всё это было чуть ли не вчера.

На следующий день вдалеке показались берега Турции. Представитель военных властей Турции, прибывший на военном катере, не только не дал нам разрешения войти в Босфор, но предложил немедленно удалиться от турецкого берега - табака у них было много и своего. Безуспешными оказались попытки продать табак в Болгарии и Румынии, и вот, миновав в такую же лунную ночь гирло Дуная, откуда ветер доносил запах тростников, хотя берега не было видно, мы, миновав Змеинный остров, вошли в одесский порт. В Одессе были немцы. Они объявили, что табак они покупают, поставили часового и на неделю оставили нас на рейде – в карантине.

Наконец, мы пришвартовались к набережной, сдали табак и получили взамен немецкие остмарки. Сойдя на берег, все занялись своими делами. «Зефирос» должен был отплыть обратно в Сочи через 10 дней. Остановился я на эти 10 дней в одной семье, к которой у меня было рекомендательное письмо из Сочи от одной из санитарок лечебницы. Я сразу приступил к выполнению поручений отчима: в магазине, торгующем медицинским оборудованием, закупил почти всё, что мне было заказано. Получилось 7 больших ящиков, которые я отвёз в пакгауз

на морской пристани и сдал на хранение до отхода судна.

После этого я приступил к осмотру Одессы. Конечно, мне захотелось посмотреть и одесский университет. Там на дверях я увидел записку об окончании зачисления в университет на медицинский факультет как раз в этот день. Я воспринял это как перст судьбы и, не отдавая себе отчёта в серьёзности принятого решения, пошёл на приём к проректору, который решал эти дела. Я предъявил ему наспех написанное заявление и свою московскую студенческую зачётную книжку, которую из опасения воровства всегда носил с собой в потайном кармане. Он её внимательно посмотрел (там были отметки за два с половиной курса и все хорошие или отличные). «А откуда Вы приехали и как попали в Одессу? Есть ли у Вас в Одессе родные или друзья? На какие средства Вы думаете жить?». Я рассказал ему всю свою эпопею, он сказал, что оставшихся у меня денег слишком мало и, кроме того, эти остмарки, как только уйдут немцы, потеряют всякую стоимость. «Ну, так как же?»- улыбаясь, спросил он. «Если можете, то зачислите, я Вас очень прошу»- был мой ответ. Он сразу стал строгим и недоброжелательным, что-то написал на моём заявлении и, протягивая его мне, сказал: «Вы слишком самоуверенны, но храбры, юноша». Выйдя из кабинета, я прочёл резолюцию: «Зачислить на третий курс».

На следующий день я предупредил Кочумяна, что остаюсь в Одессе до конца семестра, занял у него небольшую сумму денег, договорился с администрацией пакгауза о длительном хранении ящиков и

уговорил семью, где остановился, дать мне приют на три месяца за скромную плату.

Затем, памятуя, что остмарки могут быстро обесцениться, я купил два ящика сушёных турецких фиг, два ящика консервированных бычков в томате и мешок фасоли.

«Зефирос», нагруженный мукой, ушёл в Сочи, а я начал посещать лекции в одесском университете.

Моё стремление продолжить учение было столь большим, что я решился оставить купленное имущество до своего будущего отъезда в Сочи, рискуя этим огорчить отчима. Какое-то предчувствие удержало меня отправить эти семь ящиков на «Зефиросе» с Кочумяном. И хорошо, что я этого не сделал: у берегов Сочи в страшную бурю «Зефирос» с пьяной командой был выброшен на берег и весь его груз погиб.

Со всем жаром сердца, истосковавшегося по учёбе, я посещал лекции и практические занятия. В Одессе было много стрельбы, особенно по ночам, и условия для работы над трупами были весьма удобные, поскольку недостатка в них не было. Топографической анатомии были посвящены мои самые большие усилия. Ученье шло успешно. С бытом обстояло хуже. В комнате, где я жил, окно было разбито и заклеено бумагой. К счастью, я, предвидя холод зимы, из 15 закупленных для лечебницы отчима грубошерстных одеял три оставил себе и спал под ними, укрывшись с головой, как медведь в берлоге. Сходство увеличивалось ещё и тем, что я, имея привезённую из дома литровую бутылку мёда, сосал её под одеялом, приделав вместо пробки соску с маленьким проколом. Остмарки, действительно, скоро

обесценились, и я помимо питания в студенческой столовой, где я имел скудный обед, питался фигами и бычками, распределив свои запасы по строгому рациону. Изредка хозяйка варила мою фасоль, забирая себе добрую треть порции.

Несмотря на голод, на усиленные и упорные занятия, я умудрился влюбиться в свою однокурсницу: стройную, высокую еврейку – типичную восточную красавицу. Я звал её Лианой, настоящего её имени я не помню. Она была очень целомудренной девушкой, и наши совместные прогулки по Одессе и её окрестностям были платоничны. В то время я ещё не знал, что такое женская плотская любовь и относился к самой мысли об этом, как о недопустимом грехе. Мы, кажется, никогда не целовались, но она упорно убеждала меня уехать с её семьёй в Палестину. Я не соглашался, и на этой почве у нас были размолвки.

Прошли три трудных и голодных месяца, приближалось время зимних каникул. Надо было добираться домой. В Одессе властвовала Украинская Рада. Никакого сообщения с Черноморским побережьем не было.

Я в тщетной надежде что-либо узнать бродил по одесским пристаням и тут случайно встретил сочинского знакомого – спекулянта - француза Коклэ. Он посвятил меня в заговор: несколько кавказских коммерсантов зафрахтовали частный пароход, который должен был взять курс на Херсон, но в открытом море под страхом смерти капитан должен будет изменить курс на Сухум (капитан тоже был участником заговора).

С помощью Коклэ я погрузился на этот пароход со своими 7-ю ящиками медикаментов и медоборудования, заплатив за это последние карбованцы и один золотой.

Вскоре после выхода из Одессы спектакль был разыгран, даже со стрельбой, и пароход «Вера», старая, вся в заплатах посудина, взяла курс на Сухум. Погода нам благоприятствовала, и было так обидно проплыть мимо Сочи, видя свой родной дом, но руководители заговора пригрозили выкинуть нас за борт с Коклэ, если мы будем требовать высадки в Сочи.

И так мы в Сухуми. Я сторожу на набережной, у таможни, наши ящики (стоит зазеваться на минуту - и уж какой-нибудь из них отползёт на 2-4 метра в сторону), а Коклэ ищет возможности добраться до Сочи. Наконец, ему удаётся договориться с хозяином одномачтовой маленькой шхуны. Вечером второго дня пребывания в Сухуме мы погрузились на это довольно хлипкое судёнышко. Наши ящики заложили в трюм, а для нас осталось место на крышке его люка. Была зима, но, на наше счастье, погода была сносная. Дул хороший попутный ветер. Ночь была черна, и море светилось. Брызги у носа и след за кормой светились ярким зелёным светом. На следующий день вышли на траверс Сочи, но море штормило, и нам пришлось ещё сутки курсировать в море. Спали мы на люке, прикрывшись брезентом. Кроме меня и Коклэ, с нами плыл ещё молодой мужчина с русыми волосами и бородой. Лёжа под брезентом бок о бок, мы с ним познакомились. «Светлейший князь Ливен» - так отрекомендовался тот новый знакомый. Возможно, это была правда.

Наконец море успокоилось, и я появился на родном сочинском берегу со своими семью большими ящиками. Отчим и мать, которые не имели от меня никаких известий, встретили меня как воскресшего, да ещё с приданым!

На следующий день я пошёл и воочию увидел останки «Зефироса» уже полуразрушенные морем. Мне было его жаль, будто я плывал под его прусами не две недели, а многие годы. Он дал мне возможность ощутить романтику плавания на большом парусном судне.

Короткие зимние каникулы в Сочи мне ничем особенным не запомнились. Переезд в Одессу я совершил на пароходе. В это время пароходы уже регулярно курсировали.

Поселился я в Одессе на этот раз в мебелировке «Свет и Воздух» около университета. Двери маленьких комнат выходили на галереи, окружавшие небольшой дворик под стеклянной крышей. Обитали там преимущественно студенты. С продовольствием в Одессе было плохо, и голод продолжал быть моим неизменным спутником. Однако занятия в университете шли своим чередом, и им были посвящены и моё время, и мои мысли. Одессу в это время оккупировали англичане и французы. Однажды при прогулке с Лианой по набережной мне удалось заглянуть в иллюминатор пришвартованного к молу английского миноносца. В каюте ярко горел электрический свет, поблёскивал фаянсовый умывальник, постель была тщательно заправлена, а на столике лежало несколько книг, одна из которых была раскрыта... Какой контраст с моей скудной и голодной жизнью!

Питание в Одессе в то время было крайне дорогим. Мне не по карману было что-либо докупать для добавления к похлёбке, которая отпускалась в студенческой столовой, и я и ещё несколько студентов ходили в какую-то благотворительную столовую. Там нам давали бесплатно ломтик хлеба и блюдечко манной каши. И сейчас перед моим духовным взором встаёт желтое пятно растопленного масла, венчавшее белый кружок каши.

Знакомство с Лианой продолжалось, но я никак не соглашался уезжать вместе с её семьёй в Палестину. Наконец, уже весной, настал день разлуки. Мы оба чуть не плача поцеловались и пожелали друг другу счастья. Её желание, по-моему, исполнилось, а как моё – не знаю.

Сегодня я ушёл от Вас,
Наверно, навсегда Лиана,
И вот болит на сердце рана,
И не сомкну я ночью глаз.
Я утром встану рано, рано,
Склонюсь над книгой у окна,
И дай то Бог, чтоб Вас, Лиана,
Мне не напомнила весна.

Весенние зачёты и экзамены прошли вполне успешно, и снова встал трудный вопрос: как вернуться в Сочи? Шел 1919 год. В Одессе в это время были красные, в Крыму – белые, а в Сочи – грузинские меньшевики. Сообщения по морю и по суше не было. Таких, как я, студентов из Крыма и Кавказа, набралось человек десять, и мы подговорили одного грека, владельца одномачтовой лодки, переправить нас в Крым, в Евпаторию. Денег у меня бы-

ло мало, и на это путешествие по морю я мог взять только краюху чёрного хлеба, пучок зелёного лука и флягу с водой. Когда мы под вечер погрузились в лодку, то, кроме нас, там оказался хорошо одетый мужчина с женой и большими чемоданами из желтой кожи. При выезде из порта нас никто не опрашивал: кто мы и куда держим путь. Ветер был попутный, и лодка под парусом шла ходко. Наступившая ночь скрыла и удаляющийся берег, и наше утлое судёнышко.

Я скоро заснул. Проснувшись, я увидел, что рядом с нашей лодкой вздымается тёмный борт миноносца. Хотя была середина ночи, но я всё же увидел, что мужчина и его спутница с помощью матросов поднялись на палубу миноносца, а ловкие, как обезьяны, матросы в беретах с пампушками уволокли туда же и их желтые чемоданы. После этого наша лодка отошла от военного французского корабля и продолжала плыть в полном мраке без опознавательных огней.

Следующий день был солнечный, нас окружала синева моря. Погода нам благоприятствовала. Утром на третий день путешествия мы благополучно высадились в Евпатории. Там находились войска Антанты, и меня поразили греческие кавалеристы верхом на мулах. Железнодорожными зайцами, с приключениями, мы добрались наконец до Керчи. К этому времени крымчаки рассосались по своим направлениям, и нас, «кавказцев», осталось только двое. В Керчи мы зайцами юркнули в трюм отходившего в Новороссийск парохода и думали, что нас никто не заметил. Однако, как только пароход пришвартовался к пристани в Новороссийске, нас воен-

ный дозор Добровольческой армии немедленно извлёк на божий свет и направил на мобилизационный пункт. Там нас осмотрели и велели явиться на следующий день для зачисления в армию. Надежда попасть в Сочи угасал. Но судьба была ко мне милостива: я случайно на улице встретил сочинского пристава, который хорошо знал нашу семью и меня. С его помощью я, как задержанный им преступник, вместо того, чтобы идти на мобилизационный пункт, был погружен на пароход, идущий в Сочи. И таким образом я благополучно добрался до дома.

Сочи. (июнь 1919 – сентябрь 1921.)

Кончался июнь 1919 года. В Сочи были белые, и лечебница отчима работала, как частное учреждение. Я стал снова выполнять обязанности фельдшера и осваивал работу рентгенотехника. Досуг я проводил опять в студенческой компании, и тут однажды, одна молодая полька посвятила меня в тайны женской любви. Это была хорошая девушка, но жила она то в Сочи, то в Лоо. Когда мне приходилось провожать её пешком до дома, в Лоо, возвращался я домой уже под утро. Путь наш пролегал по шпалам железной дороги.

В Сочи тогда стояла дивизия добровольческой армии под командованием генерала Черепова. Она укомплектовывалась из насильно мобилизуемых жителей Сочи и его окрестностей. Мне было 22 года, и я тоже попал в число мобилизованных. Сначала мои обязанности сводились к тому, что я с утра

до обеда работал фельдшером в маленьком госпитале, помещавшемся на месте санатория им. Фабрициуса, но в конце декабря дивизия получила приказ отбыть на деникинский фронт, и мне волей-неволей пришлось погрузиться на транспорт «Калыма» и покинуть родной город.

В Новороссийске мы получили английское обмундирование и в поезде доехали только до Ростова. Потом началось почти паническое отступление, причём, никакой заметной связи с дивизией наш госпиталь не имел. Отступали мы то по железной дороге в теплушках, то в походном порядке. В результате отступления мы снова оказались в Новороссийске. Оттуда нас походным порядком направили в Геленджик. Во время этого перехода я заболел сыпным тифом, и меня сразу положили в городскую больницу, а остатки дивизии (огромное большинство мобилизованных разбежалось) погрузились на стоявшие на рейде пароходы и уплыли в эмиграцию.

Тифом я болел тяжело. Своим выздоровлением я обязан внимательному, почти любовному, уходу за мной сестёр. О том, что я поправляюсь, я заметил по тому, что стал просить добавку к супу из перловой крупы и стесняться, когда сёстры ставили мне клизмы. И вот настал на всю жизнь запомнившийся день: мне разрешили выйти в сад госпиталя. Уже была весна, стояли все в цвету абрикосовые деревья, светило солнце, синий залив лежал рядом. О! какой прекрасной мне показалась земля.

В Геленджике были «зелёные». Когда я твёрдо встал на ноги, меня выписали из больницы и отправили на призывной пункт. Там меня признали год-

ным, но после тифа дали месячную отсрочку. Узнав, что Побережье до Туапсе отбито от белых, я немедленно отправился пешком по шоссе в сторону Туапсе. Идти, ослабленным после тифа, было трудно, но я шёл малыми переходами, по 10-15 километров в сутки. Около Михайловского перевала меня подвёз на телеге крестьянин-мельник и уложил спать у себя дома в одной комнате со своими дочерьми, девушками по 16-17 лет. После тифа меня это не смущало, и утром, поблагодарив мельника и его семью, я двинулся дальше.

Шоссе хранило следы недавних боёв: валялись сломанные повозки, трупы животных, а кое-где и людей. Дорога была абсолютно безлюдной, и идти мне было иногда страшновато, ведь на мне было частично английское обмундирование. Я всё-таки в конце концов добрёл до Туапсе. Там уже была Советская власть. Я нашёл военный госпиталь и уговорил его главного врача дать мне работу в госпитале, пока не откроется дорога на Сочи. Коллектив госпиталя принял меня радушно, и я в роли фельдшера проработал там недели две и заболел возвратным тифом. По выздоровлении после первого приступа болезни, я узнал, что Сочи давно занято красными, и отпросился из госпиталя. До Лазоревки я доехал на случайном товарном поезде, а дальше железнодорожный путь был разобран, и я пошёл пешком по шпалам. Когда я дошёл до Головинки, у меня начался второй приступ возвратного тифа. Но, переночевав у каких-то добрых людей, утром при высокой температуре вышел на шоссе и упросил возницу какой-то военной упряжки подвезти меня до Сочи. И вот я опять в милом родном Сочи. Дома меня встре-

тили как воскресшего из мёртвых – ведь несколько месяцев от меня не было никаких известий. Меня уложили в чистую мягкую постель, и я, несмотря на сорокоградусную температуру, жар, чувствовал себя на седьмом небе от счастья.

Я снова стал работать фельдшером в лечебнице моего отчима. Теперь это снова была городская хирургическая лечебница, но во главе её стоял, уже как заведующий, мой отчим. Среди пациентов было очень много военных, и я пользовался, благодаря этому, отсрочкой от призыва в армию. В нижнем этаже нашего дома на Приморской улице, который также был национализирован, жили крупные военачальники: член Реввоенсовета Гусев, командир занявшей Сочи дивизии Егоров. Наша семья занимала второй этаж. К отчиму новая власть относилась с большим уважением, и работа в лечебнице шла гладко.

К этому времени моей подружкой стала Валя Ш. – дочь известного тогда в Сочи врача-терапевта. Это была златокудрая молодая женщина. Из нас двоих она обладала, пожалуй, большим интеллектом, чем я, но нас сближала та вековая тяга здоровых молодых людей друг к другу.

Так прошло лето и осень 1920 года и весна, и лето 1921 года. Из воспоминаний этого периода мне памятна экскурсия на малодоступное в те времена озеро Рицу. Нас было четверо: я, Валя, мой шестнадцатилетний брат Лёва и его гимназический товарищ. Шли мы на озеро через Аибгу, можно сказать, без троп.

На лунной поляне поставлен бивак,

Кругом травы и травы – зелёный ковёр.
В раскрытой палатке царит полумрак,
У входа её догорает костёр ...

5. Последние студенческие годы и студенческие каникулы

Летом 1921 года вместе с отчимом в лечебнице работал ассистент московской клиники Егоров. Осенью он вместе с женой и грудным ребёнком решил вернуться в Москву. В это время железнодорожный транспорт всё ещё находился в состоянии полной разлухи. В связи с этим единственной возможностью добраться до Москвы было ехать санитарной летучкой, которую порожняком перегоняли в Ленинград. (тогда Ленинград ещё назывался Петроградом. *В.Г.*). Вместе с ними в теплушке, т.е. в товарном вагоне, решили ехать я и Валя: я – в Москву: продолжать учебу в университете, а Валя – в Ленинград, с целью реализации вещей, оставленных в ленинградской квартире. Вместе с Егоровыми мы заняли отдельную теплушку и добирались до Москвы почти 20 дней. Проезд из Сочи в Москву прошел без каких-либо приключений, и единственное, что мне врезалось в память - это толпы беспризорных голодных детей, выпрашивающих кусок хлеба, которые окружали наш эшелон во время длительных стоянок.

И вот мы в Москве. Наш эшелон загнали влюблено, в тупик, и я отправился на разведку в Москву. Комнату, которую я занимал в 1917 году, занимали уже другие люди, оставленное мною имущество было полностью растащено. В университете мне также

отказали в приёме из-за переполнения и предложили ехать в Казнь. В Казани у меня никого из родственников и знакомых не было, и я решил ехать с летучкой в Ленинград, поскольку там у меня были родные.

Пешком добрался я до люблено, нашёл нашу летучку. Когда я сказал Вале, что не остаюсь в Москве, а еду в Ленинград, её лицо залилось краской радости. Много лет спустя, прочитав у Паустовского, что ничего нет прекрасней лица счастливой женщины, я вспомнил лицо Вали в тот момент. И мне кажется, что тогда между нами появилась и большая духовная близость.

Не помню, как мы доехали до Ленинграда в нашей теплушке. Валя остановилась в семье своих друзей Фишеров, а я – у дяди Платона и тётки Лизы.

Ленинград был малолюден, многие квартиры были необитаемы. Дядя, тётка и их дочь Ксения жили в одной комнате, где была печка-буржуйка, остальные комнаты были пусты и не отапливались, а в одной из них был склад дров.

Я устроился в тупичке коридора, где было немного теплее, чем в пустых комнатах.

Меня приняли на четвёртый курс I Ленинградского (Петроградского. *В.Г.*) медицинского института. Я начал старательно заниматься, появились новые друзья, и скоро меня даже избрали в коллегии старост курса. Институт находился на Петроградской стороне, а квартира дяди Платона - на ул. Некрасова, около Суворовского проспекта. Это больше часа ходьбы. Иногда, когда выпадал снег, я шёл на лыжах через Неву. Вид у меня был странный – пальто было сшито из бурки, ворсом наружу, и я на-

поминал медведя, но тогда, во время разрухи, это мало кого смущало.

В семье дяди Платона было большое горе – Валя погиб в Гражданской войне на Севере. Дядя Платон, в прошлом преуспевающий адвокат, теперь работал продавцом в винном магазине, тётя нигде не работала, а Ксения принимала активное участие в межцерковной грызне того времени. Я, захватив из Сочи толику денег, питался кое-как самостоятельно, т.к. было голодно, и объедать родных я считал невозможным. В институте нам давали поёк: чёрный хлеб, клюкву, ржавую селёдку и сахарин.

Я помогал дяде Платону пилить в квартире дрова и иногда выполнял его поручения, для чего приходилось иногда выезжать из Ленинграда. Этим я старался как-то отблагодарить их семью за приют.

Почти каждый вечер я проводил с Вале́й. Она, как я уже упоминал, жила у Фишеров (две взрослые дочери бывшего директора ботанического сада). Это была огромная квартира, в одном конце которой жили сёстры Фишеры, а в другом конце была комната Вали. Она нигде не работала и жила, будто чего-то ожидая. Чего? Сделать ей формальное предложение я не мог – ведь я сам жил у дяди Платона по существу Христа ради. Всё прояснилось весной: Валя получила официальное разрешение выехать в Париж, где её ждал тот, кто был её первым возлюбленным до моего возвращения в Сочи из Геленджика. Что имеем – не храним, потерявши - плачем. Однако вполне благополучно законченный учебный год и отъезд в Сочи в какой-то мере смягчили горечь потери. Приехав в Сочи, я узнал, что родители Вали

тоже собираются легально уехать во Францию. Всё стало ясно.

В это лето я и брат Лёва много времени посвящали исследованию Кудепстинских пещер, куда ходили чуть ли не каждую субботу и воскресенье с весёлой молодёжной компанией, с романтическими ночёвками под сводами входа в пещеры. Много времени отдавали и морю, поездкам под парусом на принадлежащей брату лодочке, названной им «Краб». Однако я продолжал работать в лечебнице, зарабатывая деньги на зиму. Так быстро промелькнуло лето 1922 года.

Гражданская война окончилась победой Советской власти, набирал силу НЭП, разруха шла на убыль, появилась устойчивая валюта – «червонцы». Поэтому учебный год 1922/23 г. был для меня в бытовом отношении гораздо легче предыдущего. Занятия шли успешно, появились новые друзья Саша Рязанов и Наташа Рюминская. С Сашей мы увлечённо занимались хирургией в госпитальной клинике Н.Н.Петрова, крупного учёного того времени. И вот сданы государственные экзамены, получен диплом врача и нас с Сашей Рязановым оставили по конкурсу при хирургической клинике института для усовершенствования в качестве экстернов (без жалования). Снова летний отпуск в Сочи, работа в лечебнице, которая, к огорчению отчима, была преобразована в костно-суставной санаторий для туберкулёзных больных. Мои попытки вести наблюдения за изменением состава крови этих больных под влиянием инсоляций, роман с Н.А. - очень красивой молодой и весьма темпераментной женщиной, поход на г.

Амуко с братом и товарищем ... и лето промелькнуло как один день.

Зиму 1923/24 гг. я работал экстерном в госпитальной хирургической клинике института. Мы, врачи-экстерны, вели по десятку больных, присутствовали на операциях. Апофеозом считалось, если под руководством старшего ассистента нам разрешили сделать операцию грыжи или аппендицита. Конечно, мы участвовали в обходах профессора и докладывали ему о своих больных. Но при обходе не нашей палаты мы тащились в хвосте толпы старших товарищей, сопровождая профессора. Я понял, что при такой работе нужен добрый десяток лет, чтобы стать самостоятельным хирургом. Поэтому на следующий год я решил сменить клинику.

Лето 1924 года прошло, как обычно, в работе в лечебнице. Удалось совершить большую экскурсию на ледники Псеашхо и, конечно, мы с братом и его друзьями немало времени провели, плавая под парусом на «Крабе».

Зиму 1924/25 года я проработал в клинике молодого, энергичного профессора-хирурга Э.Р.Гессе, но и здесь я получал в основном теоретические знания. Мы с Сашей Рязанским аккуратно посещали заседания Хирургического Общества, где выступали такие корифеи хирургии, как Фёдоров, Греков, Петров, Вреден, Джаалидзе, доклады которых мы выслушивали, как божественные откровения. Однако до нашей мечты – стать опытным хирургом - предстояло пройти ещё долгий, долгий путь.

Летом 1922 года в Сочи отдыхал профессор химии Сапожников из Ленинграда. С его дочерью Варварой и её подругой москвичкой Марией я проводил

много времени. Сапожников часто бывал гостем в нашем доме, гостем уважаемым и любимым. У меня с Варей завязался роман, продолжение которого было перенесено и в Ленинград. У Сапожниковых, в их профессорской квартире, иногда собиралась молодёжь, часто там бывал и я. Варя, как мен казалось, выделяла меня среди других.

Летом 1924 года Сапожниковы тоже отдыхали в Сочи, и я, мой семнадцатилетний брат Лёва, Варя и один пожилой учитель – Капитоныч совершили поход на всё ещё труднодоступную необитаемую Рицу через Аибгу с выходом на Гагры. Я всё больше влюблялся в Варвару, и между нами возникла даже физическая близость, но духовно мы были разными.

«В твоей крови струится яд зелёный
Лесов и гор, - мне говорили Вы -
И ты грустишь, в вершины гор влюблённый,
И грезишь только шорохом листвы».
Мне говорили Вы, что Вы совсем иная,
Вы города дитя. И шимми, и фокстрот
Вы можете плясать, не уставая,
С друзьями Вашими все ночи напролёт.

Летом 1925 года Вари в Сочи не было. Это лето в корне, возможно, изменило мою судьбу - и в первую очередь хирургическую судьбу, - а виной явился случай.

Однажды, этим летом, я катался под парусом. Ветерок был очень слабый, и лодка еле-еле скользила сравнительно близко вдоль берега. Вдруг нос её легонько обо что-то стукнулся. Сразу же раздался мат, но в добродушном ключе. В грузном мужчине с бородкой я узнал известного тверского хирурга

В.В.Успенского, который не раз выступал на заседаниях Хирургического Общества. Я извинился и предложил покатать его на лодке. Он предложение принял, и у нас завязалось знакомство. Василий Васильевич стал бывать у нас дома. Через месяц знакомства он предложил мне место врача-интерна в хирургическом отделении Больничного Городка Твери. Это было как раз то, о чём я даже не смел мечтать.

Осенью 1925 года я поехал уже не в Ленинград, где жила Варя (!), а в Тверь. Начался новый этап жизни.

Я, конечно, понимал, что мой перевод из Ленинграда в Тверь как-то отразится на моих отношениях с Варварой, но я следовал твёрдым принципам своей жизни: «первым делом медицина, ну а девушки? - а девушки потом». Расплата не заставила себя долго ждать. Когда я вскоре приехал в Ленинград, чтобы ликвидировать там свои дела, я с негодованием узнал, что Варя выходит замуж за своего однокурсника по архитектурному факультету Осю Вакса. Хотя я сердцем негодовал на женскую неверность, но разум мне говорил, что Варвара поступает правильно: Ося по всем показателям практической жизни подходил ей более, чем я. Но тем не менее сердечная травма была достаточно велика. Но в молодости все раны заживают относительно быстро. Меня полностью захватила совершенно новая для меня жизнь.

6. Тверь – Сочи (1925 -1928 гг.)

Осень 1925 года. Я - в Твери. Меня поселили в отдельной комнатке во флигели. Это было одноэтажное строение, рубленное из толстых брёвен, как и остальные здания больницы. В моей комнате, размером примерно 15 кв.м., было два окна. Одно окно выходило в больничный сад, а другое – на малопроезжую улицу. Обстановка была простая: железная кровать, шкаф, два столика и два стула. Сам я добавил самодельную полку для книг. Моя должность была ассистент-интерн. Я был постоянным дежурным по хирургическому отделению, и если мне хотелось куда-нибудь отлучиться, то на эти часы вызывался другой ассистент, живущий за пределами больницы. Трудная, но золотая для молодого хирурга должность. Простые срочные операции делал я сам, на более сложные, не терпящие отсрочки до утра, вызывал кого-нибудь из старших. Питались мы при больнице, на её большой кухне. За питание мы платили 20 рублей в месяц.

Возглавлял хирургическое отделение Василий Васильевич Успенский. Внешне – русский богатырь, только с бородкой клинышком. Он был талантливым хирургом крупного масштаба, образованный, культурный и добрый человек. Он пользовался любовью и уважением у всех нас, хотя обладал патологической любовью к нецензурной брани. Его ближайшей помощницей была Наталия Алексеевна, тоже опытный хирург, но без дерзаний. Она боготворила Успенского и была внимательной наставницей для нас – двух-трёх молодых хирургов. Старшими ассистентами были Зыкова и Сегаль – уже опытные хирурги. По своим взаимоотношениям это была большая, дружная семья. Уважительное от-

ношение было и к среднему, и младшему персоналу. Дисциплина на всех уровнях была строгая. Моё жалование составляло 80 рублей в месяц. Был период расцвета НЭПа, цены были невысоки: за костюм из английского шевииота с двумя парами брюк я заплатил частному портному 60 рублей с его материей. Моя зарплата меня вполне устраивала. О работе и говорить нечего! Если в Ленинграде мне, экстерну, выпадало счастье 2-3 раза в месяц активно участвовать в операциях, то теперь я участвовал в нескольких операциях ежедневно, становясь постепенно основным оператором. Теоретическое образование тоже не стояло на месте: еженедельно у нас были научные заседания с докладами врачей, преимущественно молодых, но и сам шеф, и Наталия Алексеевна, и старшие ассистенты принимали в них самое живое участие. Это были счастливые годы!

Боль души, связанную с «изменой», Вари, я старался заглушить ухаживаниями за сестричкой Таней, девушкой, не допускавшей особых фамильярностей до брака, а о женитьбе я ещё не думал.

Пришла русская снежная зима. Тверь и наш Больничный городок засыпало снегом, и он стал точь-в-точь таким, каким изображают на старинных картинках российские небольшие города, укутанные снежным покровом.

Приближались рождественские праздники и Новый год, но мне не пришлось отпраздновать эти праздники в Твери. Я был мобилизован военкоматом и направлен по деревням с целью проведения осмотра допризывников. Я не очень горевал, такая поездка для меня, любителя путешествий и приключений, была очень интересна – ведь я никогда не

бывал в глухих уголках России. Крепкая, лохматая лошадь, запряженная в большие розвальни, а на них солдат-возница, лейтенант (председатель комиссии) и два врача (терапевт и хирург) - все в овчинных казённых тулупах морозным ранним утром минули последние домики Твери и углубились в белое безмолвие полей, перелесков, увалов. Надо признать, что большинство посещённых нами сёл и деревень не оставили в моей памяти ярких воспоминаний. Работа была скучная, тягучая, и мы больше играли в шахматы, чем занимались своим прямым делом, но один день, вернее вечер, глубоко запал в мою душу. Крестьянское население большинства сёл, обслуживаемого нами района, обладало коренастым телосложением, плоскими лицами и даже молодые девушки не привлекали к себе взор. Но вот однажды мы приехали в селение Микулино Городище. Когда-то это была действительно укреплённая усадьба какого-то князя Микулы, потому что посреди села имелось возвышенное пространство, огороженное высоким земляным валом, где теперь высилась церковь, а когда-то стояли княжеские хоромы. И как ни удивительно, жители этой деревни были в большинстве своём высоки, стройны, с чертами лица являвшими образчик стилизованной русской красоты.

На постой нас определили к священнику. Его молоденькая дочь познакомила меня со своей подругой. Поповна была весёлой и смешливой, напоминая Ольгу Ларину, а её подруга была задумчивой и серьёзной. Она была стройна и очень красива, с синими, как васильки, глазами. Вечером девушки позвали меня на посиделки (мои коллеги по комиссии предпочли выпивать с батюшкой и псаломщи-

ком). Большая изба, тускло горит керосиновая лампа, человек 10-15 девушек и несколько парней то танцуют под гармонь какие-то примитивные танцы, то поют, но не частушки, а станинные русские песни.

В саду ягода малина за оградой росла,
А княгиня молодая с князем в тереме жила...

За окном в сгущающихся зимних сумерках, почти рядом, высился засыпанный снегом вал, за которым просматривалась верхушка церкви. Не надо было иметь много фантазии, чтобы мысленно перенестись в глубину русской истории, во времена князя Микулы. Одна старинная песня сменяла другую. Особенно хорошо пела синеглазая подружка поповны. Что греха таить, она мне очень понравилась, и где-то в глубине сознания даже шевельнулась мысль: может быть это моя судьба? Но судьба гнала нас дальше и больше никогда не приводила в Микулино Городище.

Утром перед отъездом обе девушки принесли свои альбомы для стихов и попросили написать что-нибудь на память. Что я написал поповне - не помню, а синеглазой девушке запомнил:

Девичий маленький альбом -
Архив для девичьего сердца,
Его, проглядывая мельком,
Невольно вспомнишь, что стереться
Уже успело в сердце том.
Пускай Вам вспомнится пора,
Когда гостили из Твери доктора,

Любуясь цветом синих глаз,
Как Вашим песням мы внимали.
В окно избы глядела мгла.
А утром путь лежал наш дале,
И след полозьев замела
Метель на первом же увале.

После двухнедельного скитания в розвальнях по русским деревням я с радостью переступил порог своей комнатки и с головой ушёл опять в любимую работу. Сотрудники по отделению, особенно сам Василий Васильевич и старшая ассистентка Зыкова, относились ко мне дружелюбно. Они активно помогали моему превращению из личинки в зрелое насекомое – хирурга (сказывается прошлое увлечение энтомологией. *В.Г.*).

Как-то В.В.Успенский поручил мне и Зыковой обработать материал отделения по операциям на желудке и подготовить его для доклада на Всесоюзном съезде хирургов в 1927 году. Для меня это было, конечно, большой честью. Кроме повседневной работы, у Зыковой и у меня прибавилась ещё и научная работа.

Осенью 1926 года в наш Больничный Городок из Москвы приехали пять девушек, только что окончивших медфак Московского университета. Среди них была одна, с которой мне предстояло связать свою судьбу и прожить более полувека. Тогда я этого ещё не знал. Лида Сучкова, миловидная, курносая, с большими серыми глазами девушка, по своему облику ничем не выделялась среди своих подруг. Несмотря на это, она сразу же привлекла моё внимание своим трудолюбием и скромностью, которые

давали почувствовать силу её характера и строгость домашнего воспитания. Скоро наши официальные, служебные отношения перешли в знакомство. Мы ходили вдвоём в кинотеатр, иногда я и ещё кто-нибудь из врачей стали бывать в гостях у девочек, снимавших сообща большую комнату недалеко от Волги.

Наше знакомство продолжалось, и постепенно Лида стала всё больше и больше выделять меня из числа врачей, работавших в Больничном Городке.

В начале нашего знакомства я не думал о браке конкретно. Теоретически мне казалось, что не красота женщины, а её преданность, самоотверженность являются теми чертами характера, которыми следует обладать женщине, если решаешься связать с ней свою судьбу на всю жизнь. Литературным прообразом таких женщин являлись героини романов Джека Лондона – верные «скво» (жёны) североамериканских индейцев. Чем больше я узнавал Лиду, чем ближе становились наши отношения, тем яснее и яснее передо мной вставал образ именно такой женщины.

21 апреля 1927 года мы официально зарегистрировали наш брак. ЗАГС помещался в каком-то подвале, проход в который был завален какими-то ящиками, но нас это тогда мало волновало. После регистрации Лида перебралась жить ко мне и стала Маленькой хозяйкой, но только не по Джеку Лондону - Большого дома, а Маленькой хозяйкой маленькой комнаты. В ней теперь стали жить два счастливых человека и домовый (из сказок Андерсена - крошкягном). Он любил слушать сказки, которые рассказывал вскипающий на плите (электроплите) чайник, и

сказки, которые иногда пред сном рассказывал своей молодой жене хозяйин комнаты.

Ты помнишь, как в зимние ночи
За окнами липа сверкала во льду?
Ты помнишь, как, день свой окончив рабочий,
Вечером поздним к тебе я приду?
Ты меня ждала, и серые милые глазки
Были привета и ласки полны.
Чайник на печке рассказывал сказки,
Снились в те ночи нам светлые сны.

Оба мы много времени проводили на работе в хирургическом отделении, и по существу вне работы встречались только вечером, да и то не всегда – ведь я был постоянным дежурным по отделению.

Весной этого года я выступал с докладом о хирургическом лечении язвенной болезни желудка на Всесоюзном съезде хирургов. Собственно, доклад должна была делать Зыкова, как старшая, но она великодушно уступила эту немалую честь мне. Страшно было только тогда, когда я поднимался на кафедру, а потом страх прошёл, всё пошло гладко. Съездом доклад был принят хорошо, им остались все довольны. В этом не малую роль сыграло и то, что он исходил из хирургического отделения В.В.Успенского, который хотя и работал в провинции, но пользовался заслуженным авторитетом и симпатией хирургов всей страны.

Приближалось лето 1927 года. Пора было ехать в отпуск. Я уговорил Лиду конечный участок нашего пути до Сочи преодолеть не совсем обычным путём, пройти через Главный Кавказский хребет

пешком. Я так расхваливал ей красоту гор, что она, не колеблясь, согласилась. Описанию этого нашего путешествия, ставшего по сути дела свадебным путешествием, я хочу посвятить отдельную главу второй части своей биографии, которую назову «Зрелые годы».

Глава IV. **З р е л ы е г о д ы**

1. Вступление автора к IV главе книги

Восемь лет тому назад начал я писать это повествование о своей жизни. Писалось оно с большими перерывами из-за других более срочных дел.

Перед тем как перейти к описанию последующих лет, мне хочется еще раз вернуться к обоснованию того, какова цель этого повествования. Едва ли оно найдёт читателя, кроме моих близких, но мне почему-то хочется, чтобы эти воспоминания, мне дорогие и близкие, но бесплодные и обречённые на исчезновение вместе со мной, однако, будучи записанные, обрели как бы плоть и кровь и способность к самостоятельному существованию.

И так пускаемся в дальнейший путь по дорогам давно минувших дней.

2. Летний отпуск 1927 года, последний год интернатуры. Сочи-Тверь (1927-1928 гг.)

Вскоре по приезде в Сочи мы, по настоянию матери, да и по собственному желанию, решили закрепить наш брак венчанием по церковному обряду, хотя оба и не были религиозными – это был скорее дар вековой русской традиции. Поскольку в те годы это считалось с государственной точки зрения предрассудком и крайне не приветствовалось, венчались мы не в сочинской церкви, а в хостинской. Эта красивая, маленькая церковь, к сожалению, разделила судьбу многих храмов России – в тридцатые годы она была разрушена и снесена. Единственным свидетелем на обряде венчания был мой младший брат Лёва, которого священник поначалу принял за жениха.

Дома тоже особого торжества по тем же причинам не было. Нас с Лидой это не слишком огорчало – мы считали, что важна сама суть брака – любовь.

Лида сразу включилась в домашние, притом самые «чёрные» работы по дому, хотя отчим и отговаривал её от подобных занятий, поскольку у нас в доме тогда ещё была прислуга.

Нашим большим развлечением в это лето и в последующие несколько лет было катание на нашей с братом лодке «Краб» под парусом. Рано утром с береговым бризом мы уходили далеко в море и, там, дожидавшись дневного ветра с моря, возвращались к завтраку обратно. Период безветрия длился обычно около часа, и это время нашу лодку обычно окружало небольшое стадо дельфинов. Они плавали и резвились непосредственно у бортов лодки, так что можно было коснуться их рукой. Мы тогда не знали, сколь доброжелательны к людям дельфины, и не решались поплавать и поиграть с ними. Теперь, когда так много пишут об их уме, любопытстве, и миролюбивом отношении к человеку, мы с Лидой часто жалеем об этой упущенной возможности. Теперь дельфинов почти нет – их выбили во время войны на мясо и жир, (и сейчас их не перестали уничтожать), да и мы уже не похожи на тех, кто тогда сидели в лодке и смотрели на этих зубастых двухметровых обитателей моря, которые кружились вокруг нас, явно вызывая на игру.

Лето промелькнуло быстро, и вот мы снова в Твери, в нашей комнатке-келье, и снова работа с утра до ночи, но работа интересная, увлекательная, и любовь, в которую всё больше и больше вплетались нити дружбы и взаимного уважения. Синяя птица счастья тогда часто садилась на низенькие окна нашей комнаты, вызывая восхищение крошки-гнома

Ты помнишь, как в снежные зимние ночи
За окнами липа сверкала во льду?

Ты помнишь, как, день свой окончив рабочий,
В комнатку нашу к тебе я приду?
Ты меня ждала, и серые милые глазки
Были привета и ласки полны.
Чайник на печке рассказывал сказки,
Снились в те ночи нам светлые сны.

Так пришла осень 1927 года. Ещё существовал НЭП, цены были невысоки, и нам наших совместно получаемых 120 рублей вполне хватало на жизнь. Я даже смог у частного портного сшить себе из серого английского шевота костюм с двумя парами брюк, что мне обошлось (с материалом) всего в 60 рублей. На ужин мы с Лидой тратили 35-37 копеек. Моё совершенствование в хирургии продолжалось, и я уже под присмотром старшего ассистента делал самостоятельно операции на желудке и других полостных органах.

Весной 1928 года, кажется в апреле, я получил письмо из дома, в котором отчим просил меня переехать работать в Сочи, к этому его побудили житейские трудности. Одновременно пришло письмо-вызов из здравотдела Сочи за подписью заведующего здравотделом доктора Топорского, в котором мне предлагалось занять место второго хирурга в городской больнице. Не столько соображения личного порядка – мне не хотелось прерывать работу под руководством В.В.Успенского, сколько чувство сыновней верности заставили меня покинуть Тверь.

Лида тоже без особого энтузиазма согласилась с этой, как я убедил её, необходимостью.

С большим сожалением покидали мы нашу комнату и крошку-гнома, который не захотел покидать обжитое им место (домовые более привязаны к дому, чем люди).

3. Первые годы самостоятельной работы (Сочи 1928-1941 гг.)

Мой переезд в Сочи вызывался домашними обстоятельствами: наш жилой дом по улице Приморской был национализирован вместе с лечебницей отчима, и он вёл теперь хлопоты о возвращении его. Поскольку в таком относительно большом доме жил только он с женой (их сын Лёва уже жил в Ленинграде, а дочь Лиза с мужем жили в Москве. *В.Г.*) добиться успеха было трудно, теперь же, когда с нашим переездом в доме жили две семьи, в том числе три врача хлопоты стали более успешными, и в тридцатом году дом был отчиму возвращён в частное владение с учётом общественных заслуг отчима перед городом.

Я, как уже упоминалось, был приглашён на должность второго хирурга. Единственным хирургом сочинской больницы был Б.П.Кестер. Он занял это место, когда в 1905 году отчим был в тюрьме, и крайне плохо относился к отчиму, чувствуя, что занял по существу «живое» место. Кестер был человек с общественной жилкой, но очень слабый хирург – в свои 60 лет он мог оперировать только грыжи и аппендицит – операции, которые в ленинградских клиниках доверялись молодым и малоопытным хирургам-интернам. По своей хирургической подготовке я был значительно сильнее, и Кестер счёл за благо ещё до моего вступления в должность подать в отставку. Таким образом, я стал единственным хирургом больницы. Меня это не смущало, если бы не одно обстоятельство: врачи больницы были обязаны делать аборт по направлениям горздрава, имевше-

го от этого значительный доход. В хирургическом отделении Больничного городка в Твери мы абортками не занимались, и у меня был только небольшой опыт из занятий в Институте Отта в Ленинграде. На первых порах у меня были небольшие неприятности на этой почве, так как злопыхателей, мстивших мне за Кестера, было не мало, а авторитет я ещё не заработал. Однако скоро я наловчился в этом несложном деле и всё наладилось.

После такого слабого хирурга, каким был Кестер, завоевать популярность и при том довольно быстро, не составляло большого труда. Моя работа в больнице – тогда единственной в Сочи - в дальнейшем развивалась вполне успешно, и шипенье злопыхателей отчима и моих быстро и навсегда стихло. В последующие десять лет моей работы в больнице я старался повышать свою квалификацию, посещал съезды врачей, ездил на курсы усовершенствования в Ленинград, читал медицинские книги, выписывал медицинские журналы, и круг моих операций расширялся: операции на органах брюшной полости, почках, крупные гинекологические операции и даже операции на сердце при его ранениях...

Около двух лет я не притрагивался к этой рукописи: были другие заботы, да и, признаться, насколько приятно мне было погружаться в воспоминания детства и юности, настолько слабо влечёт вспоминать события зрелых лет и теперешней старости. Два месяца тому назад мне стукнуло 83 года, но коль взялся за гуж - не говори, что не дюж.

Вообще-то говоря, последние столетия моей жизни можно разделить на четыре периода:

- Мой переезд на постоянную работу в Сочи (1927-1941 гг.)
- Период войны (1941-1945 гг.)
- Работа на курорте (1945-1968 гг.)
- Жизнь после выхода на пенсию (года после 1968 г.)

Первое десятилетие моей деятельности в Сочи - в период с 1927 по 1938 года – было связано с работой в больнице. Как я уже упоминал, это десятилетие было трудным периодом в моей жизни, периодом самостоятельного совершенствования знаний и техники хирургии. Чувствовалась нехватка ещё двух-трёх лет, которые надо было проработать в Твери под руководством В.В.Успенского и других опытных хирургов.

Были моменты, которые запомнились на всю жизнь. Я оперировал годовалого ребёнка по поводу большой паховой грыжи. Наркоз давала опытная медсестра. Однако опыт ее был связан только с эфирным наркозом, а тут пришлось из-за отсутствия эфира применить хлороформ. Сестра допустила передозировку, и ребёнок перестал дышать, а сестра этого не заметила. Вдруг я обратил внимание, что ткани перестали кровоточить, а это значит, что перестало работать сердце! Сразу, прекратив операцию, я стал делать искусственное дыхание и массаж сердца. Прошло несколько страшных и томительных минут. Наконец личико ребёнка порозовело, и он сделал первый самостоятельный вдох. Операцию можно было продолжать, и она была благополучно завершена. Ожидавшей за дверью операционной матери вручили прооперированного и уже просыпавшегося от наркоза дитя. А что бы было, если бы ... Удивительно, что ни ассистент-врач, ни наркотизатор не обратили внимания на

страшные признаки потери ребёнка и не предупредили меня.

Были, однако, и запомнившиеся случаи удач: однажды принесли на носилках молодого солдата, в дыхательное горло которого попала фасолина. Он был уже без сознания, весь синий и только судорожные попытки дышать выдавали, что он еще жив. Я понимал, что вопрос решают минуты, если не секунды. Немедля ни минуты, я быстро обмазал свои руки и шею больного иодом (мыть руки и подготовить больного к операции времени не было), и, стоя на коленях, сделал больному, лежащему на носилках, одним взмахом ножа трахеотомию. Пальцем расширил вход в трахею и оттуда, при судорожном кашле больного, пулей вылетела злосчастная фасолина, юноша порозовел. Придя в себя, он, мешая мне перебинтовывать его шею, стал хватать и целовать мои руки.

За время работы в больнице я произвёл много трудных и сложных операций, часто очень рискованных, но все они, за исключением очень немногих безнадёжных случаев, заканчивались благополучно. Это обеспечивало мне авторитет столь нужный хирургу. И все-таки случай с фасолиной запомнился мне сильнее, чем успех многих трудных операций.

Ещё одно воспоминание: примерно в 1936 году моему отчиму, известному всему городу хирургу, потребовалась операция грыжи. Отчим доверил мне сделать эту операцию, я согласился, так как был уверен в своей технике и асептике. Операция прошла успешно, но мне казалось, что воздух приобрёл упругость резины – так действовали тормозящие центры. Отдалённые результаты тоже были хорошие. Но на второй день после операции, когда отчим привстал с постели, с ним случился обморок, доставивший мне (это случилось в моём присутствии) несколько минут смертельной тревоги.

В больнице образовался коллектив, преданный мне и работать в этом коллективе было одно удовольствие...

(На этом автобиографические воспоминания отца обрываются В.Г.)

4. Годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)

(Ниже публикуется статья К.А.Гордона «Сочи в годы Великой Отечественной войны. 1941 – 1945 гг.» предназначенная для публикации в «Черноморской Здравнице» В.Г.)

С самого начала войны многочисленные санатории, а также гостиницы и больницы Сочинско-Мацестинского курорта были переоборудованы в госпитали. Обслуживались это госпитали врачами, сёстрами и санитарками, которые работали в этих же санаториях в предвоенные годы. Хотя еще перед самой войной некоторые врачи и прошли небольшой курс военно-полевой хирургии, но в общей массе это были терапевты, да еще курортного уклона.

Правда, с момента разворота госпитальной базы в Сочи были направлены немногочисленные опытные хирурги, но всё же их не хватило на все госпитали. Поэтому МЭП-104 распределил их в качестве ведущих хирургов по ряду госпиталей, куда и направлялись наиболее тяжёлораненые. Одновременно в обязанности ведущего хирурга входило периодическое посещение расположенных рядом госпиталей с легкоранеными и оказание медперсоналу этих госпиталей необходимой консультативной помощи.

Мне довелось с августа 1942 года и почти до победного конца войны быть ведущим хирургом госпиталя ЭГ 21-22, размещавшегося в корпусах санатория «Искра». Одновременно раз в неделю я консультировал раненых соседнего госпиталя. Он размещался в корпусе санатория «Горный воздух», который ныне является одним из корпусов тогда ещё не существовавшего санатория «Заря».

Ведущий хирург являлся в госпитале по сути дела единственным человеком, хорошо знакомым с лечением хирургических больных. Госпитали, как правило, были заполнены несколькими сотнями раненых, которые как раз и нуждались в хирургическом лечении. Это обстоятельство определяло крайне ответственное положение ведущих хирургов, так как в основном именно от их деятельности зависел эффект лечения, проводимого в данном госпитале. Начальники госпиталей и даже их помощники по медчасти выполняли преимущественно административно-санитарные функции.

Такое положение ведущих хирургов требовало от них и опыта, и большой работоспособности, а также и немалых организационных навыков. Кроме этого в первые годы войны ведущий хирург являлся не только главным хирургом и главным организатором лечебного процесса, но одновременно и «учителем на ходу» всего медицинского персонала.

Довоенная специализация хирургов, в какой-то мере, определяла даже специализацию госпиталя, в котором они работали. Так, например, в госпиталь, в котором работал ведущим хирургом проф. Агапов, направлялись воины с ранениями лица и челюстей; в госпитали, в которых работали хирурги Агеенко и

Косовитов (ныне оба – профессора Краснодарского мединститута) - раненые, требующие оперативного вмешательства на крупных кровеносных сосудах; в госпиталь, где ведущим хирургом был Чебриков – раненые в грудную полость.

Наш ЭГ № 21-22 был профилирован на лечение тяжелых ранений конечностей. В госпитале имелось четыре отделения, но госпитальную нагрузку нельзя было равномерно распределить между ними. В наиболее тяжёлых условиях находилось 1-е отделение. Оно располагалось вблизи операционной, главной перевязочной и гипсовальной - в неё направлялись нетранспортабельные наиболее тяжелораненые. Начальником этого отделения была моя супруга Сучкова-Гордон Л.Г (в то время военврач в звании капитана медслужбы). Ещё с довоенного времени она имела опыт хирургической работы и это было главное, а то, что по профессии она была гинеколог, это было уже второстепенным. Её отделение всегда было в госпитале на хорошем счету – отделение постоянно удерживало 1-е место в социалистическом соревновании, которое неуклонно проводилось комиссаром госпиталя, несмотря на войну. Вторым врачом в отделении была опытный терапевт М.В.Постнова. В другие отделения направлялись более легко раненые. 4-е отделение даже имело несколько терапевтических коек, и заведовал им пожилой, опытный врач-терапевт Хасилёв. Все терапевты «на ходу» усваивали опыт хирургической работы, как этого требовали условия времени и госпиталя.

Своё рабочее время я распределял следующим образом: 4 дня в неделю, проделав с утра операции,

не допускавшие отсрочки, остаток дня до вечера проводил по очереди в каждом из четырёх отделений. В отделениях я осматривал поголовно всех раненых, наблюдал за наиболее ответственными перевязками, проверял правильность проводимого лечения и ведения документации (на что проверяющие комиссии зачастую обращали основное внимание), отбирал раненых, требующих оперативного вмешательства. Остальные три дня недели посвящались целиком операциям. Операционный день начинался с 8 часов утра и, как правило, продолжался до 22-23 часов, а часто захватывал и первую половину ночи, особенно когда прибывали транспорты с новыми ранеными. Госпиталь наш производил обширные операции на раздробленных костях и пораженных крупных суставах: тазобедренном, коленном, плечевом и эти операции были обычными в списках очередных операций. В послеоперационный период такие раненые должны были длительное время находиться в обширных гипсовых повязках. Гипс приходилось жестко экономить, и это давало повод к применению гипсово-железных и гипсово-деревянных повязок.

Конечно, одной из наиболее распространенных операций было и удаление у раненых осколков мин, снарядов и пуль. В некоторых случаях, когда небольшой осколок лежал среди мышечной ткани, найти и удалить его, даже располагая рентгеновскими снимками, было далеко не легким делом. Между тем интересы раненого и авторитет врача, столь необходимый для ведущего хирурга, требовали и в этих случаях обязательного удаления инородного тела и при том с наименьшей травмой раненого.

В этих случаях я стал применять следующий метод: я брал раненого в рентгеновский кабинет и там, контролируя свои действия по изображению на экране рентгеновского аппарата, вводил длинную иглу от шприца в мягкие ткани по направлению к осколку, пока конец иглы не упирался в металл. Тогда раненого осторожно переносили в операционную и, руководствуясь направлением иглы, быстро и безошибочно удалял осколок, к тому же почти без боли, так как в процессе введения иглы через неё вводился раствор новокаина, обезболивающий место разреза. Способ хороший, но имевший одно весьма существенное «но». Дело в том, что обычно руки рентгенолога защищены от губительного рентгеновского излучения толстыми резиново-свинцовыми перчатками. Однако такие перчатки совершенно исключают возможность тонких и деликатных манипуляций с иглой и сопутствующего ощупывания тела раненого. Поэтому приходилось работать без защитных перчаток, рискуя рентгеновским облучением рук с их страшными последствиями, но ведь и раненые в бою рисковали жизнью! На моё счастье, доза полученного мною облучения была сравнительно невысока, и мои руки уцелели. В те суровые годы войны пренебрежение своим здоровьем ради победы было всеобщим.

Напряжён и труден был рабочий день ведущего хирурга, но следует признать, что работа врачей - заведующих отделениями, их ординаторов, среднего и младшего медицинского персонала была ещё тяжелее.

Как я уже упоминал, наш госпиталь был профилирован на тяжелораненых. Каждое из его четырёх

отделений было рассчитано на 150 раненых. Однако эвакуация раненых в тыл была крайне затруднена, так как железная дорога была проведена только до Адлера. С Закавказьем, куда мы должны были направлять раненых, нас связывала только тоненькая ниточка узкого шоссе. Из-за перегрузки шоссе военной техникой, а также недостатка санитарного автотранспорта, было крайне сложно выполнять задачу дальнейшей эвакуации раненых в глубокий тыл сухопутным путём. Как это ни было рискованным, дальнейшую их эвакуацию приходилось зачастую осуществлять морем. В то время над морем и днём и ночью барражировали немецкие бомбардировщики, а в море дежурили немецкие подводные лодки и торпедные катера, которых в стремлении к уничтожению не останавливали даже нанесенные красные кресты на бортах санитарных судов. Поэтому не всем транспортам удавалось счастливо дойти до портов Поти и Батуми. Таким образом, Сочинская госпитальная база находилась практически как бы в тупике, куда непрерывным потоком поступали раненые из Одессы и Крыма, а позднее из-под Новороссийска, с легендарной Малой Земли, из-под Туапсе, с горных перевалов за Салох-Аулом и Красной Поляной. Госпитали работали с огромной перегрузкой. В нашем ЭГ 21-22 в каждом отделении, вместо положенных 150 раненых, лежало иногда по 250 человек. В таких условиях приходилось размещать раненых на тюфяках, положенных на пол не только в коридорах, но и в палатах, в проходах между кроватями. Всё это значительно осложняло и утяжеляло и медицинское обслуживание раненых, и уборку помещений. Для того чтоб отнести на пере-

вязку раненого, лежавшего в дальнем углу палаты, приходилось поднимать и переносить несколько других. При этом все эти раненые, большей частью тяжелораненые, требовали заботливого ухода, относительно частых перевязок, ежедневного осмотра врачом, переливания крови и других непрерывных забот. При этом в каждом отделении работало только два врача и столь же небольшой штат сестёр и санитарок, и эта страда без единого выходного дня продолжалась не неделю, не месяц, а целых четыре года. Особенно тяжёл был для персонала в так называемый «баный день»: раз в неделю нужно было обмыть поголовно всех раненых, лежащих в отделении, сменить постельное и нательное бельё, сделать перевязки и всё это делалось силами того же немногочисленного, как правило, женского коллектива. Иногда, в довершение ко всем трудностям, случались перебои с водоснабжением; бывало, гас электрический свет и тогда операции, перевязки и срочные переливания крови приходилось делать при тусклом свет керосиновых ламп и самодельных «коптилок». В этих случаях темнота в палатах до крайности затрудняла уход за ранеными. Почти всегда не хватало перевязочного материала, некоторых медикаментов, а такого мощного средства борьбы с инфекцией как антибиотик мы тогда вообще ещё не имели. Всё это создавало дополнительные затруднения и в без того непосильной работе.

Рабочий день у врачей официально начинался с рабочей линейки у начальника госпиталя в 8 часов утра и продолжался до 23 часов, а ведь кроме этой работы у многих медицинских работников госпиталя, которыми являлись преимущественно женщины,

были ещё и свои семьи, дети, требующие своей доли забот – им приходилось особенно трудно.

О «вне госпитальной жизни» женщин-матерей я расскажу на примере своей супруги, поскольку её «вне госпитальной жизни» я знал лучше, чем кого-либо другого. Я с женой работал, как я уже упоминал, в госпитале, размещавшемся в корпусах санатория «Искра». А наши дети – двенадцатилетняя дочь Наташа и девятилетний сын Владислав продолжали жить в нашем доме, недалеко от морпорта, под присмотром нашей хорошей знакомой и преданной нам женщины - Шуры (Александры Осиповны Киркаленко). Телефонной связи с домом во время войны не было. Поскольку морской порт представлял собой стратегический объект, он периодически подвергался как бомбардировкам с воздуха, так и обстрелу, и торпедным атакам с моря. И всякий раз, когда слышались звуки разрывов в западной стороне города, мы находились в страхе за судьбу наших детей. Кроме беспокойства за судьбу детей, контакт с семьей был необходим и чисто по бытовым причинам. И вот ежедневно, закончив в 23 часа напряжённый 15 часовой рабочий день, Лида плелась (иначе передвижение голодного человека я назвать не могу) домой, к детям. Преодолев семикилометровый путь в 10500 шагов, как она сама подсчитала, она приходила домой в первом часу ночи. В это время дети уже крепко спали, и она могла только поглядеть на спящих детей, справиться у Шуры о том, как прошёл день, о здоровье и школьных успехах детей, дать ей указания, какие вещи можно продать или обменять на продукты для детей, и на пять часов забыть во сне. На следующий день, а точнее в этот

же день, в 6 часов утра, поцеловав еще спящих детей, она отправлялась в обратный путь, чтобы к 8-и часам успеть на утреннюю линейку к начальнику госпиталя. И так изо дня в день в течение долгих трёх лет, последнее время на опухших от голода ногах, по безлюдному шоссе, при свете развешенных над морем немецких осветительных ракет и в хорошую погоду, и в непогоду, под дождём, и в снег, в промокшей насквозь шинели и изношенной обуви. Воистину это был подвиг и врача, и матери!

Тем женщинам, дом которых находился в госпитале или вблизи него, было, конечно, легче, но и им приходилось выполнять необходимые домашние работы, заботиться о детях и доме уже по ночам, отрывая драгоценные часы у недолгого сна после утомительного рабочего дня.

Я же, как ведущий хирург, был лишен и такой возможности посещения дома. Я находился на казарменном положении и жил в госпитале, готовый в любое время дня и ночи приступить к срочной операции. И только в редкий день – не реже одного раза в месяц, когда я доходил до точки от усталости и буквально валился с ног, физически не мог больше оперировать, мне давалась увольнительная на сутки, которые я проводил дома.

Особенно тяжёлыми были годы середины войны – 1942 и 1943. Необычно выглядел Сочи в эти критические для него месяцы войны: город казался совсем пустым, обезлюдившим. Ночью ни один лучик света не пробивался сквозь плотно зашторенные окна, и тишину пустынных улиц нарушали лишь гулкие шаги военных патрулей да приглушенные гудки автомашин, дорогу которым больше освещал

свет развешенных над морем немецких осветительных ракет, чем еле видный синий свет подфарников.

В опустевший город с гор спустились мелкие звери, и даже в Приморском парке по ночам слышался вой шакалов. К тому же однажды как-то днём я спугнул у библиотеки им. А.С.Пушкина большого серого зайца.

Днём город тоже выглядел полупустым. Оставшиеся в городе жители, почти поголовно носившие или военную форму, или белые медицинские халаты, спали и питались по месту своей работы, и у них не было ни времени, ни надобности ходить по улицам. Помню, как однажды, получив разрешение поглядеть своих малолетних детей, я пешком (городского пассажирского транспорта в те годы не было) отправился к себе домой. Проходя мимо Зимнего театра, я почувствовал слабость, и, хотя до дома оставалось всего несколько сот метров, присел отдохнуть, и невольно загадал, что буду сидеть отдыхать, пока не увижу первого прохожего. Предомной расстилалась пустынная Театральная площадь, за которой поднималась колоннада давно бездействующего и, казалось, всеми забытого театра; вдаль уходили безлюдные улицы, и только ветер гнал по асфальту опавшие осенние листья. Город казался покинутым. Я просидел, наверное, около получаса и ушёл, так и не увидев ни одного человека.

Однако эта пустота и кажущаяся безжизненность касалась главным образом улиц, площадей, парков и скверов. Обманчивость этого впечатления мгновенно исчезала, стоило только преступить порог одного из действующих госпиталей, впрочем, как и любого другого работающего предприятия.

Здесь, скрытая от посторонних глаз, замаскированная от немецких самолётов-разведчиков, в тесноте переполненных палат, в перевязочных, операционных, цехах питания, прачечных и в других помещениях госпиталя кипела такая напряженная, не затихающая ни днём, ни ночью деятельность, которую по всеобщности и интенсивности труда можно сравнить разве что с жизнью муравейника или пчелиного улья.

В этот период времени в Сочи уже явно стал ощущаться недостаток продовольствия. Снабжение было нарушено, а на рынке цены росли не по дням, а по часам. Особенно трудно стало с питанием в нашем госпитале в 1943 году. В связи с наметившимся переломом в войне и начавшимся отступлением немецких войск, весь медицинский персонал госпиталя, кроме начальника и замполита, был переведён на положение вольнонаёмного персонала и, следовательно, был лишен военного пайка. Раненым ещё отпускали достаточное питание, хотя и однообразное: рис и хорошо известную американскую свиную тушонку. Продукты доставляли прорывающиеся сквозь воздушную и морскую немецкую блокаду транспорты из Закавказья и черноморских портов Грузии. Медицинскому персоналу теперь приходилось питаться не в госпитальной, а в рабочей столовой, не получавшей продукты с госпитального продовольственного склада. Положение с питанием медперсонала госпиталя стало явно неудовлетворительным, нашему же госпиталю пришлось особенно туго. Дело в том, что администрации других госпиталей уже заблаговременно в целях улучшения питания персонала и раненых организовали в

окрестностях Сочи подсобные огороднические хозяйства или посылали автомашины в соседнюю более богатую продуктами Абхазию для закупок продовольствия для своих рабочих столовых. В нашем ЭГ 21-22 ничего подобного не организовали. Наш начальник госпиталя, майор медслужбы Исмаил-Заде, бывший до войны тюремным врачом, всё своё внимание сосредоточил на предотвращении возможного выноса продуктовых крох из госпитальной столовой. Заботы же о рабочей столовой целиком возложил на нерадивого завхоза. Персонал госпиталя голодал. «Затирка» - горячая вода, жидко заправленная мукой, кусок селёдки и небольшой кусок хлеба – вот меню обеда, а завтрак и ужин были и того хуже. Хроническое недоедание и плохой состав пищи привели к тому, что люди были истощены и обессилены. Если санитарки иногда доедали то, что оставляли на тарелках тяжелораненые, то авторитет и положение врачей и сестёр не позволяло им этого, и их положение было особенно тяжёлым. Их от слабости на ходу качало, люди падали в голодные обмороки, появились явные симптомы элементарной дистрофии – голодные отёки ног и лица. Только энергичное, хотя и неофициальное вмешательство инструкторов МЭПа-104 несколько улучшило положение с питанием работников госпиталя.

Положение Сочи в этот период войны было крайне угрожающим: немцы блокировали Черноморское побережье Кавказа со стороны моря, их части продвинулись по равнинам Кубани, Ставрополя и предгорным районам Кавказа до Орджоникидзе, их отборные альпийские части дивизии «Эдельвейс»

рвались через перевалы в районе Сухуми, Красной Поляны и Салох-Аула к Чёрному морю. Было ясно, что если это им удастся, то город окажется, как в хлопнувшей мышеловке. Город спешно эвакуировался, жгли архивы, все, кто мог, спешили выехать в Закавказье. Почти все сочинские госпитали также спешно эвакуировались. Из 50 и более госпиталей Сочинской госпитальной базы только восемь остались на месте, в том числе и наш ЭГ 21-22.

И всё же в этих трудных условиях персонал госпиталя продолжал трудиться воистину с героическим упорством, не думая о своей дальнейшей судьбе, и не снижая качество своей работы, за которую госпиталь неоднократно получал благодарность командования.

Раненые продолжали непрерывным потоком поступать с места недалёких боев. Поступали нередко прямо с поля боя, как в медсанбат, даже не переодетые, с оружием в руках и боезапасом. Выполняя директивные требования МЭПа, каждого раненого необходимо было тщательно санитарно обработать во избежание возникновения эпидемий. Врачу и сёстрам госпиталя было необходимо детально обследовать раненого, завести необходимую медицинскую документацию, в самые сжатые сроки полностью обработать и если нужно прооперировать, забинтовать, загипсовать и всё это в условиях жесточайшей экономии медикаментов и перевязочного материала. Так, например, вату частично заменяли стерилизованным мохом, который сестры сами или организованные с этой целью школьники собирали в лесу.

С глубоким уважением и благодарностью вспоминаю я самоотверженную работу моих товарищей врачей Александрийской, Бутягина, Постновой, Румянцева, Солдатченко, Сучковой-Гордон, Хасилёва, а также и операционных сестёр Демидовой, Пьянковой, которые помимо своей тяжёлой нагрузки находили силы для «шефского ухода» за особо тяжёлыми ранеными в послеоперационный период. С этим же чувством я также вспоминаю не менее тяжёлый труд других моих товарищей – врачей, сестёр и санитарок, чьи имена и фамилии три минувших послевоенных десятилетия стёрли из моей памяти, но трудовой подвиг которых никто не в праве забыть!

Необходимо отметить, что при таком сверхплотном 14-16 часовом рабочим дне люди находили время и силы для повышения своих медицинских знаний и ознакомления с политической информацией, регулярно сообщаемой замполитом госпиталя Гончаровым. Примечательно, что и в это критическое для Сочи время МЭП-14, которым руководил почти всё военное время полковник медслужбы Шполянский, продолжал регулярно проводить гарнизонные научно-практические конференции для врачей сочинских госпиталей. На этих конференциях выступали с докладами ведущие хирурги по материалам своих госпиталей, делясь с товарищами по работе своими наблюдениями и опытом.

В моём архиве сохранились несколько таких докладов, которые я сделал в течение войны на этих конференциях. Они, конечно, базировались на материалах ЭГ 21-22 и касались в основном поражений конечностей согласно профилю нашего госпиталя.

Два из числа этих докладов были отобраны МЭПом и приняты к печати.

Руководство МЭПа оказывало методическую помощь госпиталям также путём рассылки специальных указаний, но гораздо более важными и полезными для нас были регулярные – раз в одну-две недели, посещения нас хирургами-инспекторами МЭПа. Эти инспекционные посещения не имели ничего общего с посещениями инспекторов-чиновников, к которым мы привыкли в послевоенное время и которые, кроме досады и зачастую чувства обиды, ничего после себя не оставляли. Инспектора МЭПа были очень опытные и эрудированные уже пожилые хирурги, и их руководящие советы и (что особенно хочется отметить) тёплое товарищеское отношение во многом помогали нам, ведущим хирургам. С особо тёплым чувством я вспоминаю хирургов-инспекторов товарищей Лясковского и Тартаковского. После их посещений и советов, высказанных в дружеском тоне, всегда работалось спокойней и уверенней. Особо располагало к ним то обстоятельство, что они, как и мы, не эвакуировались с основной массой госпиталей, а остались работать в полуокруженном городе, рискуя своей жизнью в случае прорыва немцев через горы к морю, как и все, кто тогда оставался в Сочи.

Помимо средств госпитального лечения раненых: операций, перевязок, переливания крови (весь персонал госпиталя был донорами) и медикаментозного лечения, - естественно, возникала мысль привлечь в качестве вспомогательного средства лечения целебные силы природы, которыми так богат наш курорт Сочи.

Госпиталь ЭГ 21-22 в этом отношении находился в благоприятных условиях, так как был расположен на окраине города, у края леса. Тяжелораненые нашего госпиталя с повреждениями крупных костей и суставов, как нельзя больше, нуждались в таких вспомогательных методах лечения.

Широко нами использовались общие и местные солнечные облучения, поскольку благоприятное влияние гелиотерапии на травматические и воспалительные повреждения тканей и особенно костной ткани уже было давно с достоверностью выяснено. Длинный ряд лежаков, расставленных в саду вблизи корпусов, постоянно были заполнены ранеными, принимавшими или общие солнечные ванны, или только облучение ран, прикрытых целлофановой пленкой. Особого внимания заслуживает при лечении тяжелораненых предпринятый нами и вполне оправдавший себя опыт постоянного пребывания их на свежем воздухе, при явлениях затянувшегося выздоровления и хронического сепсиса. Санаторий «Искра», в корпусах которого размещался наш госпиталь, имел хорошую танцевальную площадку под крышей, расположенную в лесопарке, в стороне от основных зданий. Здесь нами была создана «лесная палата» на 30 коек для круглосуточного пребывания тяжелораненых на свежем лесном воздухе. Результаты этого эксперимента поразили даже нас – инициаторов этого дела: тяжело больные, истощенные болезнью люди, лежавшие до этого без видимого улучшения в душном воздухе переполненных палат, здесь быстро оживали, у них улучшался аппетит, быстро нарастало в крови число красных кровяных шариков, нормализовалась температура и за-

метно ускорялось заживление ран. Скептическое отношение к круглосуточному пребыванию на открытом воздухе, высказанное вначале эксперимента частью врачей и самими ранеными из опасения простудных заболеваний, скоро рассеялись. Число желающих попасть в эту «лесную палату» стало столь большим, что приходилось производить отбор наиболее нуждающихся в таком лечении.

По мере возможности мы старались воспользоваться также лечебными силами мацестинской воды, несмотря на бездействие во время войны мацестинских ванн зданий. В некоторых случаях мы применяли примочки из кипяченой мацестинской воды. После кипячения эта вода, конечно, теряла весь растворенный в ней сероводород, но её солевой состав и присутствие в ней каллоидной серы благоприятно влияли на заживление ран, подтверждая уже описанные в медицинской литературе сведения о лечебном свойстве каллоидной серы на регенерацию тканей.

Характер огнестрельных ранений, свойственный нашему госпиталю, предрасполагал к образованию тугоподвижности крупных суставов и воспалению костной ткани – осложнениям, весьма затягивающим сроки выздоровления. Сначала мы боролись с этими осложнениями, применяя лечебную гимнастику, аппликацию парафина и глины, но потом решили попробовать также привлечь на помощь целебные силы Мацесты. Получив разрешение начальника госпиталя, мы организовали на бездействующей Старой Мацесте, в заброшенном бетонном бассейне, приготовление мацестинской лечебной грязи. Загруженную в бассейн отмученную глину мы сме-

шивали с подводимой самотёком мацестинской водой, контактирующую со связкой железных прутьев. Опыт удался полностью: была получена чёрная пластическая грязь с выраженным запахом сероводорода. При лабораторном анализе эта грязь получила высокую оценку по всем показателям лечебных грязей. К сожалению, ограниченное количество получаемой грязи позволяло отпускать по 50-60 процедур в день. В нашем госпитале нами была организована и функционировала первая в Сочи грязелечебница. Лечение серой мацестинской грязью выявило её большие преимущества по сравнению с парафинолечением и аппликациями глины. Об этом методе лечения мной и заведующей грязелечебницей врачом Александрийской был подготовлен большой материал к докладу, который был сделан на гарнизонной научно-практической конференции. Доклад получил весьма положительный отзыв со стороны участников конференции и руководства МЭПа и рекомендован был в печать.

Применяли мы и различные растительные компоненты, и листья растений. В частности, для закрытия больших грануляционных ран пользовались растительной плёнкой – молодыми, еще не распустившимися листьями банана, отваром листьев эвкалипта, предложенными врачом городской больницы Алиевым, листьями подорожника. Это позволило в какой-то степени компенсировать недостаток перевязочного материала и медикаментов. Антибиотиков, как я уже с сожалением отмечал, мы тогда ещё не имели, а их наличие спасло бы не одну сотню жизней.

Кроме того, приходилось весьма широко использовать лечебный эффект врачебного слова, стараясь создать у больного оптимистическое настроение. В связи с этим хочу привести один яркий пример. Нередко мы получали раненых, в повязках и в ранах которых копошились личинки мух – маленькие белые червячки. Раненые и многие из персонала госпиталя поначалу остро реагировали на присутствие «червей», полагая, что они наносят вред ране и здоровью. Они с возмущением относились к этому факту, рассматривая его, как грубейшее нарушение санитарных норм. Однако со временем люди убедились в ошибочности мнения о вредоносности личинок мух. Пришлось разъяснять и раненым, что они не трогают живые и восстанавливающиеся ткани, не наносят вреда ране, что они питаются только мёртвыми тканями, которые являются очагами размножения вредоносных микробов, и этим способствуют выздоровлению. После этого отношение к личинкам мух резко изменилось, их перестали бояться, пропало чувство брезгливости к ним. Тем не менее мы, согласно категорическому требованию санитарии, а также и из соображения эстетики, всё-таки старались, чтобы личинки мух в повязках не заводились. Из этих же соображений наше «открытие» мы не рекламировали, хотя этот факт отмечался ещё Пироговым во времена Крымской войны в XIX веке. Благодаря разъяснительной работе, этот биологический фактор был осмыслен и ранеными, и персоналом, как не имеющий вредоносного характера и бурного негодования больше не вызывал.

Так с величайшим напряжением сил, не считаясь с собственным здоровьем, используя и оператив-

ные вмешательства, и переливания крови, и лечебные силы природы Сочинского курорта, персонал госпиталя трудился. Персонал госпиталя героически трудился и в критические для Сочи годы войны, когда фронт находился в непосредственной близости от города, и когда фронт откатился далеко на Запад, и Сочи больше не грозила непосредственная опасность прорыва немецких войск на побережье. В это время в Сочи начали возвращаться эвакуированные госпитали, и вплоть до окончания войны Сочи функционировал уже как большая госпитальная база глубокого тыла.

За хорошую постановку лечения, обеспечивавшего низкий процент смертности и хорошие показатели выписки выздоровевших воинов в действующие части армии, наш госпиталь ЭГ 21-22 был отмечен приказом командующего Черноморской группы войск, генералом Петровым, а работники госпиталя были награждены знаками отличия. Среди нескольких десятков госпиталей Сочинской госпитальной базы некоторые были отмечены особо: их ведущие хирурги были представлены командованием фронта к награждению боевыми орденами Красной Звезды – наивысшей награде медперсонала прифронтового госпиталя. В числе награждённых ведущих хирургов был и автор этих воспоминаний.

По поводу вручения наград руководство МЭПа-14 устроило единственный за время войны торжественный вечер-банкет в санатории им. Фабрициуса. Уже шёл 1944 год, и в это время ясно ощущался в ходе войны коренной перелом в нашу пользу. У всех присутствовавших на этом вечере было поднятое радостное настроение. Люди верили, что

после уже недалёкой победы над фашизмом для всех людей наступит спокойная и радостная жизнь, на которую они своим мужеством, стойкостью и трудом завоевали право.

В официальной части вечера в большом ярко освещенном зале начальник МЭПа, полковник Шполянский, зачитал приказ командующего и в торжественной обстановке приступил к вручению наград. Когда подошла моя очередь, и я уже протянул руку, чтобы получить высокую награду Родины, как вдруг где-то рядом раздался оглушительный грохот взрыва, здание дрогнуло, свет погас, зазвенели вышибленные взрывом стёкла. Наступила недоумённая тишина. Однако свет скоро снова зажегся, я получил свой орден, и вечер продолжался до полуночи, как ему и надлежало по программе.

Что касается взрыва, то оказалось, что это немецкая подводная лодка пыталась торпедировать наше сторожевое судно, атакуя его со стороны моря, но промахнулась, и торпеда взорвалась, ударившись в бетонную стену набережной санатория в каких-то пятидесяти-ста метрах от здания, где проходило наше торжество. Никто от взрыва не пострадал. Однако это происшествие сделало для меня почему-то особенно ярким воспоминание об этом торжественном вечере моей жизни.

Комментарии В.К.Гордона к книге отца «Детство, отрочество, юность К.А.Гордона»

1. Комментарии к главе IV «Зрелые годы», параграф «3. Первые годы самостоятельной работы (Сочи 1928-1941 гг.)»

На этом воспоминания отца, относящиеся к периоду 1928-41 гг., обрываются. Желая восполнить недосказанное отцом за этот период, я в конце этой книги публикую свои комментарии-воспоминания, касающиеся жизни отца и нашей семьи в период с 1938 по 1941 годы. В основу моих комментариев легли как рассказы родителей, знакомых об этом периоде жизни нашей семьи, так и самые ранние свои воспоминания.

Тридцатые-сороковые годы явились, пожалуй, как наиболее счастливый период жизни отца. Окончание института; встреча с женщиной, в дальнейшем ставшей ему любимой женой и верным другом; возвращение в любимый город; жизнь в кругу дружной семьи (горячо любимых родителей и не менее любимой жены); рождение детей: в 1930 году - дочери Наталии и в 1933 году - сына Владислава; интересная работа, приносящая ему удовлетворение, растущий авторитет и уважение со стороны коллег. Следует отметить, что в те годы жизнь нашей семьи была хорошо обеспечена: работали отец, мать и дедушка. Помимо основной работы дедушка и отец вели частный приём на дому. Для этой цели в доме

существовали два заранее спроектированные медицинских кабинета (дедушки и отца) для приёма больных. Частный прием давал дополнительный доход, а также содействовал и росту авторитета отца среди жителей города, и близлежащих сёл (об авторитете дедушки и говорить не следует, поскольку он пользовался большим авторитетом не только у горожан ещё с дореволюционного времени). В какой-то степени мерилom достатка нашей семьи являлись просторный дом, наличие прислуги, приобретение сначала дедом, а позднее отцом личных легковых автомобилей, и аренда на целый день в сочинском порту прогулочного катера для экскурсионной поездки на Пицунду. Эта поездка на Пицунду запомнилась мне штормом на обратном пути, когда почти всех экскурсантов качка уложила в лёжку. Даже «морской волк» - мой дядя Лёва – инженер-кораблестроитель не избежал этой участи, о чём потом хихикали наши родственники и кое-кто из знакомых. Интересно отметить, что, приобретя легковой автомобиль-кабриолет «Форд», дед стал одним из трёх первых «автомобилистов» города: дедушка, доктор Топорский и писатель Н.Островский. Я пишу о дедушке как об автомобилисте в кавычках потому, что он сам машину не водил – у него для этой цели был шофёр, для которого при построенном у нас во дворе гараже была своя жилая комната, в которой он жил со своей семьей. Одним из шоферов, как мне помнится, был тогда ещё молодой Павел Павлович Бетко. Отец приобрёл несколько позже дедушки уже отечественную автомашину «ГАЗ-АА», её он водил сам. Воскресные поездки на своей машине, а иногда и с дедушкой на двух машинах на Красную Поляну,

Гагры, по только что открывшейся дороге к озеру Рица, Сухуми доставляли отцу (и нам) не меньшее удовольствие, чем ежедневные хождения раннем утром под парусом на известном уже читателю «Крабе», который просуществовал вплоть до начала войны. Вспоминаю себя ревушим от страха в лодке, а рядом в каких-нибудь одном-двух метрах от её борта большие, кувyrкающиеся туши дельфинов. Ежегодно в отпускное время отец с товарищами совершал многодневные прогулки в горы. Он исходил не только Западный Кавказ от горы Фишт до Клухорского перевала, но неоднократно штурмовал перевалы Центрального Кавказа в районе Сванетии. Этот период жизни отца является также периодом расцвета его поэтического творчества. Интересы отца в это время были многогранны: помимо уже описанных выше увлечений он был страстным садоводом. Сравнительно небольшой сад, заложенный еще дедушкой позади нашего дома, благодаря уходу отца обильно угощал нас яблоками, грушами, черешней, хурмой, айвой, мушмулой и особой гордостью отца цитрусовыми: мандаринами, лимонами, апельсинами и грейпфрутами, для которых отец смастерил разборную оранжерею. Любимцем отца была немецкая овчарка – Грей, которую он сам вырастил и прекрасно выдрессировал. Помню, как нас, детей, Грей катал в маленькой тележке, в которую впрягал его отец.

Семья наша была хлебосольной, жила дружно. У нас было тогда много друзей. Особенно многолюдно было летом, когда приезжала сестра отца Лиза со своей семьёй и дядя Лёва с женой и друзьями. Было много друзей и знакомых среди горожан. Ку-

шать за стол мы садились всегда всей семьёй. Помню, как сейчас, столовая, за столом сидит вся семья во главе с бабушкой. Перед бабушкой на столе стоит тихонько шипящий самовар, на ручках которого развешаны бублики с маком. Они распарились, и от них исходит незабываемый аромат тёплых бубликов. Бабушка разливает всем чай и угощает нас, детей, бубликами. Нас, детей, держали в строгости, мы не смели вступать в разговор взрослых. Нам всегда поучительно повторяли: «Когда я ем, я глух и нем».

Но счастье, пусть оно будет даже семейным, не может продолжаться бесконечно.

Жестокость сталинских репрессий не обошли стороной и нашу семью. Настал 1936 год. Совершенно неожиданно для нас последовал арест Аркадия Львовича. Месяца два-три мы не имели о нём никаких сведений, но осенью (это было в 1936 году) он вернулся как будто полностью реабилитированный.

Хотя его первый арест и закончился довольно быстро и благополучно, но на отчима условия следствия и заключения произвели крайне тягостное впечатление.

Более подробное описание событий, связанных с арестами дедушки в 1936 и 1940 гг. приводится в воспоминаниях отца «Аркадий Львович Гордон - первый городской врач г. Сочи (семейная хроника)», написанные им в 1978 году.

Шли 1937, 1938 и 1939 годы. И хотя, как внутри страны, так и за рубежом разворачивались грозные события, наша семья прожила их без потерь

и даже не испытывая плохих предчувствий: нам казалось, что нам не за что опасаться. Аркадий Львович работал консультантом санаториев Совета министров и ОГПУ, руководства которых относились к Аркадию Львовичу с уважением и доброжелательством.

Первый арест Аркадия Львовича родители рассматривали как проверку на его лояльность и были за него спокойны.

Следует отметить, что первый арест Аркадия Львовича отложил свой отпечаток и на судьбу моего отца. Воспользовавшись арестом Аркадия Львовича - арестом, который бросал тень и на моего отца, заведующий Горздравотделом начал подкапываться под него, желая освободить место хирурга больницы для своего брата. Этот подкоп выражался в придиришках по мелочам и во всяких заданиях, несвойственных для ведущего хирурга городской больницы. Так, например, отец был откомандирован для проведения какого-то мелкого медицинского обслуживания (как мне помнится из рассказа отца что-то вроде прививок) населения предгорных селений. Хотя отец об этой командировке отзывается с юмором, ибо для него, любителя гор и женщин, оказаться на одну-две недели среди гор и в компании с молодой симпатичной сестричкой было скорее удовольствием, нежели «наказанием», но тем не менее отец понял, что дальше ему спокойно работать в больнице не дадут, и в марте 1938 года перешёл работать врачом-хирургом в поликлинику Курортного управления. Однако работа в курортной поликлинике оперирующему хирургу большого интереса не представляла, и в августе 1939 года он перешёл работать

в Сочинский Научно-исследовательский бальнеологический институт имени И.В.Сталина в должности заведующего терапевтической клиники. Работа в институте привлекла отца не только более широкими масштабами, нежели работа хирурга в курортной поликлинике, но и возможностью заняться научной работой, подготовкой диссертации на учёную степень кандидата медицинских наук. В октябре 1939 года он был назначен научным сотрудником вновь созданной при институте травматологической клиники. В апреле 1941 года, после успешной защиты диссертации (март 1941 г.) по травматологии - старшим научным сотрудником.

Диссертацию на учёную степень кандидата медицинских наук отец защитил в марте 1941 г. и по ходатайству института ему было присвоено звание старшего научного сотрудника. Тема диссертации была актуальна: «Влияние мацестинских ванн на заживление переломов». Там же в институте отец разрабатывал методику реабилитации раненых в войне с Финляндией в 1939-1940 гг. В связи с этим отец приобрёл некоторый опыт полевой хирургии, пригрозивший ему в годы войны.

Ничего не предвещало близости большой семейной беды – повторного ареста Аркадия Львовича.

23 декабря 1941 года дедушка был арестован повторно. В это время он лежал после сердечного приступа, перенесённого в связи с заболеванием скарлатиной, заразившись от своего юного пациента. Не выдержав потрясений, вызванных повторным арестом и сердечной недостаточностью после перенесённой болезни, Аркадий Львович, насколько нам

стало известно позже, скончался здесь же, у себя дома, через несколько часов после начала ареста. Тем не менее мы получили извещение о его смерти, наступившей якобы через несколько недель в Москве. Однако моя сестра – Наташа как-то рассказывала, что много лет спустя она интересовалась у кладбищенского сторожа о захоронении бабушки, и он сообщил ей, что Аркадий Львович был похоронен на старом ныне уже несуществующем кладбище в районе возведённого мемориала в память павшим бойцам в Великую Отечественную войну.

В восьмидесятых годах, на наш запрос нас официально уведомили, что дело Аркадия Львовича было поднято, рассмотрено и за отсутствием состава преступления закрыто.

Особенно тяжело переживал смерть Аркадия Львовича отец.

Тоска

(после смерти отчима – А.Л.Гордона
от рук НКВД)

На ветвях безлистных дуба
Ветер раскачивает труп,
Целует синие губы
Под вой похоронных труб.
И птицы испуганной стаей
Прносятся мимо стремглав,
И с низкого неба свисает
Туманов тяжелая мгла.
Два ворона чёрною стражей
Уже прилетели сюда,
Но мёртвый и им не расскажет,
Как умер, за что и когда.

ХII. 1940 г.

Надо отметить, что арест дедушки выявил истинных друзей нашей семьи. Истинные друзья сразу же поспешили выразить нам свое сочувствие и продолжали дружеские отношения с нашей семьёй, а так называемые «друзья», делали вид, что с нами не знакомы и, увидев кого-нибудь из родителей, спешили перейти на другую сторону улицы. Такое изменение в отношении к нам этих людей произвело на отца глубокое впечатление. Он стал более замкнут, весёлые вечеринки в доме прекратились.

Однако с арестом и смертью дедушки злоключения нашей семьи не закончились. В июне 1941 года началась Великая Отечественная война.

2.Комментарии В.К.Гордона к параграфу 4. «Годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.)».

К сожалению, отец так и не написал свои воспоминания о годах Великой Отечественной войны, предназначенные специально для его книги «Детство, отрочество, юность». Поэтому в качестве основного материала этой главы используется статья «Воспоминания о годах войны 1941-1945 г. бывшего ведущего хирурга эвакогоспиталя № 21-22 кандидата медицинских наук т. Гордона К.А.». Эта статья была написана для средств массовой информации ко дню очередной годовщины Победы наших войск в войне с Германией и довольно подробно описывает ситуацию, сложившуюся в те годы. По-

скольку этот материал написан в официальном тоне и касается в основном работы отца в эвакуогоспитале № 21-22, то я решил дополнить эту главу и своими воспоминаниями, публикуемые ниже

Несмотря на то, что в довоенное время в Сочи проводились занятия с младшим и средним медицинским персоналом по полевой хирургии, объявлялись учебные воздушные и химические тревоги, и страна как бы готовилась к войне, но тем не менее начало войны оказалось для нас, впрочем, как и для большинства граждан Советского Союза, полной неожиданностью. Помню, когда я утром 21 июня 1941 г. прибежал домой от товарищей и сообщил своим домочадцам и гостям, сидящим уже за утренним завтраком, что началась война, от меня отмахнулись, как от назойливой мухи. Никто на мои слова не обратил внимание, но, когда (спустя несколько минут) об этом сообщил наш сосед, только тогда это известие было принято в серьез. Взрослые повскакивали со своих мест и бросились к радиоприёмнику.

Санатории и гостиницы города стали переоборудоваться под госпитали. В нашем районе были развернуты госпитали на базе санаториев им. Цюрюпы (позднее ставший Домом пионеров), «Красной Москвы» (им. М.Тореза), НКВД №2 («Черноморье») и Приморской гостиницы. Город опустел, было введено затемнение и карточная система отпуска продуктов. В первое время перебоев со снабжением продуктами питания не было. В августе месяце прибыл первый эшелон с ранеными. Им был устроен торжественный прием с оркестром и цветами.

В это время отец продолжал работать в институте курортологии. Как медицинский научный сотрудник–хирург он освобождался от призыва в армию, поскольку госпитали, развёрнутые в Сочи, остро нуждались в квалифицированных хирургах, тем более знакомых с полевой хирургией.

(Как ни поверить поговорке: «не было бы счастья, да несчастье помогло». Благодаря заведующему Горздравотделом, выжившему отцу из больницы, отец, возможно, избежал участи брата заведующего, который, проработав на месте отца в больнице до самой войны, был мобилизован и погиб на фронте). Кроме того, как научный сотрудник отец получил дополнительную продуктовую карточку «литер Б», которая оказалась в дальнейшем большим подспорьем в рационе питания нашей семьи. В январе 1942 года Кирилл Аркадьевич был откомандирован приказом по институту в госпиталь № 4473, развёрнутый на базе института с сохранением, как указано в приказе, совместительства в травматологической клинике. По всей видимости, он работал в госпитале на правах вольнонаёмного, что давало ему возможность ежедневно ночевать дома. Отправляясь вечером домой на велосипеде, он всегда привозил свой госпитальный обед, который помещался в трёх небольших бидончиках (I и II блюда и компот). По этому поводу отец сочинил юмористический стихок, весь текст которого я не помню. Помню только, что там говорилось о велосипеде и были следующие слова:

«У Гордона три бидона,
И лишь в том его беда,

Что в бидонах тех вода».

(далее не помню)

Жизнь нашей семьи, как я помню, в то время протекала более-менее спокойно. Из Москвы в эвакуацию к нам приехала сестра отца с двумя сыновьями. Отец ежедневно на велосипеде ездил в госпиталь и вечером иногда поздно возвращался домой. Надо сказать, что воспоминания о первом годе войны в моей памяти особенно не отложились. В этом году я пошел впервые в школу, и школьные впечатления первых дней затмили впечатления начавшейся войны. Тем более, что все считали, что война будет кратковременной, фашисты, конечно, будут разбиты, а успехи немцев в первые дни войны рассматривались как явление временное. Мы, дети, продолжали играть в войну, но только теперь нашим противником были не белые или испанские фашисты, а немцы.

В августе госпиталь № 4473 вместе с институтом был эвакуирован, но отец решил оставаться в городе до последнего момента. С одной стороны, он побоялся оставлять на произвол судьбы дом, а с другой - опасался перипетий эвакуации с семьей. Отказавшись от эвакуации вместе с институтом и госпиталем, отец потерял право на броню. По-моему, именно в это время, он и мать (она была, как и все врачи, военнообязанной) были мобилизованы и направлены в эвакуогоспиталь № 21-22 - он ведущим хирургом в звании майора медслужбы, а мать – начальником отделения тяжелораненых в звании капитана медслужбы.

С августа 1942 года, когда родители были мобилизованы и работали в госпитале № 22-21, они

находились на казарменном положении: работали и жили в госпитале. Наши встречи были довольно редки. Читатель, конечно, удивится этому заявлению, памятуя об описании отцом «внегоспитальной жизни» нашей матери и почти ежедневном посещении дома. Но, тем не менее, когда мама приходила домой, мы **уже** спали, а когда она уходила в госпиталь, мы **ещё** спали. Поэтому нет ничего удивительного, когда однажды, проснувшись и увидев мать, Наташа воскликнула: «Мама, как давно мы тебя не видели!». Изредка я вместе с моей бывшей няней, которая последнее время работала у нас в качестве домработницы, посещал родителей в их госпитале.

Добирались мы до госпиталя разными способами: чаще пешком, иногда на попутной машине, а иногда и на единственном городском пассажирском автобусе – старенькой «торпед», которая ходила 2-3 раза в день по маршруту «Рынок – Ст.Мацеста» и управлялась шофёром - пожилой полной женщиной. В дни приезда к родителям нам удавалось в течение дня несколько раз кратковременно повидаться с родителями. В здании госпиталя нам категорически запрещалось входить, и встречи, как правило, проходили на открытом воздухе.

Отца, когда он от усталости валился с ног и не мог оперировать, что бывало очень редко, отпускали на сутки домой. Эти дни отец, как правило, проводил в саду. Мне хорошо запомнился один случай в наиболее голодное время, (такое время в Сочи было), когда отец, находясь в увольнительной, сидел, отдыхая, в саду. Вдруг появляется его любимец – пёс Грей, держа в зубах тронутую плесенью буханку белого хлеба. Пёс подходит к отцу, кладёт буханку

на его колени, отходит и выжидающе смотрит на отца. В то время мы не могли кормить собаку, и она жила на «подножном корме», благо, что по соседству с нами в эвакогоспитале, расположенного в корпусах бывшего санатория «Красная Москва» только что прибывшие с передовой раненые иногда выбрасывали портящиеся продукты, выданные им на дорогу. И другой случай, когда Грей-добытчик подхватил стоящие на земле судки с обедом соседа-доктора, который в это время разговаривал со знакомым. Грей принёс судки на крыльцо нашего дома и не подпускал к ним их хозяина, пока на зов последнего ни вышли мы и не возвратили судки доктору с его обедом и нетронутым пирожком, лежащим сверху на крышке. Наказывать пса не имело смысла, поскольку он и сам сознавал неблаговидность своего поступка, что было видно по его смущённо-озорному взгляду.

Запомнился день, а точнее ночь и последующий день окончания войны. Мама (в то время она уже была комиссована по состоянию здоровья и находилась дома) с таинственно-заговорщическим видом до поздней ночи не давала нам заснуть до тех пор, когда вдруг по радио торжественно прозвучал голос Левитана, объявившего о победоносном окончании войны. Что началось в городе! Стрельба, ракеты, обнимающиеся, плачущие люди! Ни о каком сне уже не могло быть и речи. Весь следующий день продолжалось торжество.

Еще мне запомнился другой случай, когда через много лет после войны отец, консультирующий в военном санатории им. К.Е.Ворошилова, встретился с полковником, бывшим раненым. Во время войны

отец спас ему ногу, отказавшись на свой страх и риск ампутировать её, несмотря на решение лечащего врача, и продолжил дальнейшее лечение ноги раненого от начавшейся газовой гангрены под своим личным наблюдением. В результате гангрена была побеждена и нога спасена. У нас до сих пор хранятся часы с выгравированными словами: «Спасибо за спасённую ногу», подаренные отцу полковником и его фотография с благодарственной надписью. Так спустя много лет прозвучали отголоски проклятой войны.

5. Послевоенные годы. Последние годы врачебной деятельности

Если я располагал какими-то материалами, написанными моим отцом о предыдущих годах своей жизни, то, к большому сожалению, о послевоенных годах своей врачебной деятельности и о последних годах своей жизни отец никаких записей не оставил. Надо полагать, что воспоминания событий зрелых лет и наступившие за ними года старости большого удовольствия для отца не доставляли. Да и здоровье у отца уже было не то. Развивающаяся болезнь Паркинсона и связанное с нею дрожание рук - всё это, вместе взятое, не дало отцу возможности завершить свой труд. Желая восполнить этот недостаток, я позволил себе на основании личных воспоминаний и воспоминаний домочадцев, завершить описание жизнедеятельности отца. Поскольку я как рассказчик не могу соперничать с отцом и, не желая испортить впечатление, оставленное в памяти читателя

прочитанной книгой воспоминаний, буду краток в жизнеописании моего отца в последующие годы.

Отгремели годы войны. Страна стала переходить на мирные рельсы. В Сочи уже вернулись эвакуированные во время войны санатории-госпитали. Отец демобилизовался. Подал заявление с просьбой о зачислении в бальнеологический институт им. Сталина. Но ему отказали по причине отсутствия вакантных должностей – видать были в обиде на отказ отца эвакуироваться вместе с институтом. В результате отец в июне 1945 года поступил работать в Центральную курортную поликлинику заведующим хирургическим отделением. В центральной поликлинике он проработал до 1967 года – до выхода на заслуженный пенсионный отдых.

В эти послевоенные года в нашей домашней жизни произошли большие перемены. В 1948 году по окончании средней школы с золотой медалью сестра Наташа уехала в Ленинград, где поступила в институт. В 1950 году я окончил среднюю школу и тоже уехал в Ленинград, где поступил в институт связи, который окончил в 1956 году по окончании института до апреля 1958 года работал в Чебоксарах. На эти восемь лет мои связи с домом ослабли. В годы учёбы в институте родители нас не баловали, и мы приезжал в Сочи только на летние каникулы. Кроме этого, сестра отца Елизавета Аркадьевна в 1953 году продала часть дома, которая принадлежала её семье, и часть дома бабушки, после чего наша фамилия лишилась единовластия в пользовании домовладением.

В 1957 году отцу исполнилось 60 лет. Тяжёлые годы войны подорвали здоровье отца, кроме этого, и возраст уже давал себя чувствовать. В связи с этим он оставил работу в поликлинике и временно перешёл на более лёгкую работу – работу врачом-консультантом Курортной поликлинике № 1 и некоторых санаторий города. Основными санаториями, в которых он консультировал, были, как мне помнится, санаторий Министерства обороны им. К.Е.Ворошилова и санаторий «Москва». Консультации длились по несколько часов с посещением, каждого лечебного учреждения один-два раза в неделю. Эта работа была полегче, но и менее оплачиваемая. Последнее мало беспокоило отца, поскольку он начал получать пенсию, да к тому же после войны он возобновил частную практику. Будучи хорошим, знающим врачом, он пользовался большим авторитетом не только в городе, но его знали даже далеко за пределами города и часто обращались к нему в письмах за консультацией. Бывали случаи, когда больные в адресе письма, адресованного ему, ошибочно указывали другие города Черноморского побережья и работники иногородних почт переадресовывали эти письма в Сочи. Но надо сказать, что частная практика в то время не была в почёте и Горздравотдел всячески вставлял палки в колёса отцовской частной практике. Предпринимались всяческие попытки закрыть частный приём отца. Отец это объяснял тем, что зарплата чиновников Горздравотдела отнюдь не уменьшится, если он перестанет вести частный приём, а вот забот у них немного поубавится. А поскольку чиновники всегда заботились о себе больше, чем о людях (в этом отношении с годами

ничего не изменилось), то прикрыть частную практику отца было их вожаделенной мечтой. О коррупции тогда ещё разговора не было. С началом возобновления отцом частной практики, когда отца обложили непомерно большим подоходным налогом, он по требованию фининспекции завел журнал посещаемости и оплаты, который отец вёл очень аккуратно и добросовестно. В первое время ему часто досаждал своими проверками и фининспектор. Он с большим недоверием относился к записям отца в специально заведённом журнале к низкой оплате (5 рублей в 1955-1963(?) гг.), которые отец брал с больных за приём, и тем более к записям о бесплатном приёме. Он постоянно брал адреса больных и лично опрашивал их о сумме, которую они заплатили за приём. Но поскольку отец аккуратно и добросовестно вёл документацию получаемого им дохода от частной практики, то через некоторое время, когда фининспектор убедился в добросовестности ведения отцом документации, отношения между фининспектором и отцом стали более доверительными и дружелюбными. Фининспектор даже заявил отцу, что проверять его бессмысленно, поскольку больные при проверке, желая «выручить» отца, сами называли сумму гонорара, уплаченную ими за приём, даже меньше, чем это было зафиксировано в журнале приёма. Очень приятно встречать даже сейчас уже пожилых людей, которые с благодарностью отзываются о лечении своих родителей и их самих в те годы у отца. Тем не менее, в середине шестидесятых годов чиновники всё-таки «достали» отца, и он был вынужден прекратить свою частную практику. Доход отца с отказом от частной практики

уменьшился, да к тому же подошло время уже подумать об отдыхе. С целью заработать полную пенсию отец в марте 1965 года поступает работать на полную ставку в Курортную поликлинику №1 врачом-ординатором дежурного кабинета, где он проработал до января 1969 года, после чего отец окончательно оставил работу как медик.

Вскоре по окончании войны отец возобновил свои экскурсии в горы. Первый послевоенный поход отец совершили в 1948 году из Красной Поляны на озеро Кардывач. В этот поход отец взял меня и мою сестру Наташу, которая была старше меня на три года. Помню, тогда ещё не безопасно было ходить в горы. Кое-где в горах скрывались дезертиры военных лет. Руководством заповедника нам был выдан пропуск в относительно безопасный район заповедника. Предупредили, чтобы мы не игнорировали надписи, предупреждающие о минах. В этом походе я был потрясён впервые увиденным величием и красотой кавказских гор, лесов, озёр. Это величие и красота произвели на меня неизгладимое впечатление и пробудили в моих генах любовь к горам, заложенную моим отцом. С этих пор я стал постоянным спутником отца в его горных скитаниях. Нашими постоянными спутниками в горных походах стали наши друзья-знакомые, сверстники отца – Елизавета Алексеевна Сухарева, Борис Васильевич Лещенко, а с 1952-1953 гг. к нам присоединился и мой друг – товарищ по институту Виктор Кушнир. Кроме этого основного ядра нашей горной компании, с нами в горы постоянно ходило несколько случайно примкнувших к нам людей, наиболее постоянными среди них был брат отца Лев Аркадьевич и его жена, ака-

демик Ю. Флёров с женой Анной Подгурской и другие. Последний поход в горы отец совершил в 1969-1970 гг., в возрасте старше 70 лет. Я же продолжил походы в горы, заменив отца в должности руководителя группы.

Кроме гор после войны у отца сохранилась страсть к морю и автомобильным экскурсиям. Что касается моря, то парусная лодка «Краб» за годы войны пришла в негодность, но у отца сохранилась любовь к морским купаниям. Он продолжал удивлять публику дальностью своих заплывов, но в этом виде хобби я редко составлял компанию своему отцу, поскольку у меня была своя молодая компания, интересы которой различались с интересами старшего поколения. Отец остался верен себе и в любви к поездкам на автомашине. В 1950 году отец купил автомашину «Москвич – 400» (кабриолет), в 1964 году Москвич-407, а в 1978 – «Жигули-2101», который служит верой и правдой мне по сей день. Отец с матерью, а также и я, приезжавший каждое лето на каникулы в годы учёбы в институте, почти каждое воскресенье выезжали на прогулки. С 1958 года водить машину начал и я, а в середине 70-х годов полностью заменил отца. Сестра, вернувшаяся в 1966 году в Сочи, к сожалению, поездки на автомашине не любила и предпочитала оставаться дома. Наиболее излюбленными местами наших посещений были Красная Поляна, озеро Рица, Авадхара, Черкесский водопод на реке Геге, тогда еще не тронутая цивилизацией Пицунда с её сосновой рощей и древним храмом, Мюссерсы, реке Сухуми, Солох-Аул, Лазорвское и даже однажды - Туапсе. Дальше Туапсе и Сухуми мы не ездили.

В эти года отец активно продолжал писать стихи, а в 80-е годы начал весьма успешно пробовать себя в прозе автобиографического характера. Им были написаны и оформлены в небольшом количестве машинописные издания воспоминаний: «Старый Сочи конца XIX - начала XX вв. (воспоминания очевидца)», «Аркадий Львович Гордон – первый городской врач г.Сочи», «Детство, отрочество и юность К.А.Гордона», «Екатерина Майкова и её сын Константинов», «Откуда произошло название города Сочи», «По горным тропам Западного Кавказа» (сборник стихотворений) и другие. В стихотворениях того периода уже стали появляться стихи, которые отображали и гражданскую ориентацию отца, его несогласия с тоталитарностью государственного строя страны того времени (стихотворения «Раб», «Глазок приемника горел...», «Раб старый умирал», «Восточная быль» и другие). Кроме этого, им было написано и прочитано около двух десятков докладов с приложением большого количества цветных слайдов, описывающих его горные путешествия и путешествия по Союзу. К слову будет сказано, что отец в полном объеме овладел съёмкой цветных диапозитивов (слайдов), их проявкой с самостоятельным приготовлением химических растворов, предназначенных для проявочных работ (это ещё одно хобби). Попытка типографским способом издать свои воспоминания («Старый Сочи конца XIX – начала XX веков») через Краснодарское книжное издательство в 80-х годах увенчалось неудачей. После 2-х летнего ознакомления с его рукописью она была возвращена отцу примерно со следующими словами: «Вы, доктор, лучше бы описали развитие

курорта при Советской власти. К чему ворошить пыль прошлого?». На что отец мне сказал: «Ничего страшного, Владислав. С каждым годом ценность моей рукописи только повышается». И он был прав. Когда в 2004 году я издал «Старый Сочи конца XIX – начала XX вв», спрос на книгу отца был просто оглушительный: тираж в 990 экземпляров разошёлся моментально, второе издание было целиком выкуплено, ещё не покинув стен типографии, на сегодняшний день подходит к концу реализация третьего издания. Книга используется в качестве учебного пособия для экскурсоводов и школьников на уроках «Кубановедения». В 2008 году мною был подготовлен к печати и издан сборник стихотворений отца, который я назвал «По тропам Западного Кавказа и другие стихотворения», поскольку в этот сборник включены стихотворения не только горной тематики. В настоящее время подготовлены к изданию воспоминания отца «Аркадий Львович Гордон – первый городской врач города Сочи». И вот сейчас сижу над подготовкой к изданию воспоминаний отца «Детство, юность и отрочество (К.А.Гордона)».

С 1957 года, когда отцу исполнилось 60 лет и он начал получать пенсию, он сократил профессиональную работу, а высвободившееся время посвятил путешествиям по Союзу и общественной работе.

Отец всегда поражал меня фундаментальностью подготовки к каждому путешествию. Он старался всесторонне изучить объекты, посещаемые в путешествии. Поэтому информация, полученная им в путешествии, не являлась для него знакомством с данным объектом, а являлись материалом более глубокого изучения данного объекта. По окончании каж-

дого путешествия отец составлял подробный доклад описательного характера и зачитывал его в лектории Географического общества с демонстрацией нескольких десятков цветных слайдов. Отцовские доклады всегда пользовались большим интересом и проходили в переполненном зале. Отца возмущали те сложности и препоны, которые чинились в то время советскому туристу, желающему посетить в какую-нибудь капстрану. Такому отношению к туристу отец посвятил стихотворение «Восточная былль».

В эти года отцом было опубликовано много статей не только в местной газете, но и в центральной прессе. Его возмущало необдуманное строительство, уничтожающее исторические места города и меняющее, как он считал, сам облик города. Он не смог согласиться с начавшимся строительством, по тем временам, высотных зданий: гостиниц «Москва», «Ленинград», жилых «гармошек» на Менгрельской улице. Он видел в неразрывности «Торговой галереи», стеной разделившую нижнюю часть города и перерезавшей улицы Парковую и Карла Либкнехта предпосылку будущих транспортным пробок.

Большинство выступлений посвящалось защите экологии края – края, который был горячо любим отцом, который стал для него второй, если не первой, Родиной. Каждое сообщение о причинении вреда природе он воспринимал как свою личную рану. Особенно рьяно он выступал против ружейной охоты, способствующую браконьерству. Он считал убийство «наших меньших братьев», совершаемое в угоду удовольствию высокопоставленных чиновни-

ков аморальным поступком. Он выступал за охоту с фотоаппаратом как альтернативу ружейной охоты (стихотворение «Встреча с медведем»).

Однако, как отец ни бодрился, ни сопротивлялся приходу старости, но время брало своё. Прогрессирующая болезнь Паркинсона (дрожание рук) лишило отца возможности завершить предполагаемую им работу над данной книгой. Ухудшение самочувствия отца, начавшееся к концу 90-х годов было быстрое. Умер отец 3-го мая 1990 г. на 94-м году жизни. Из жизни ушёл человек и врач, по общему признанию, ЧЕЛОВЕК и ВРАЧ с большой буквы, человек высокой культуры, высоких принципов, незапятнанной чести, чистой совести, достойный памяти своего отца (отчима) Аркадия Львовича Гордона.

Свои комментариями я завершу некрологом, которым отец закончил свои воспоминания о своём отце, ибо всё сказанное о А.Л.Гордоне можно сказать и об его сыне Кирилле Аркадьевиче Гордоне: «Добрый памятником ему служат любовь и уважение его памяти, передаваемое из поколения в поколение людьми близкими к нему, друзьями и его пациентами, многим из которых он спас жизнь».

Да будет мир его праху!

Сочи.17.06.2009 г.

В.Гордон